

БОРИС ГРИНЧЕНКО

# БЕЗ ХЛЕБА





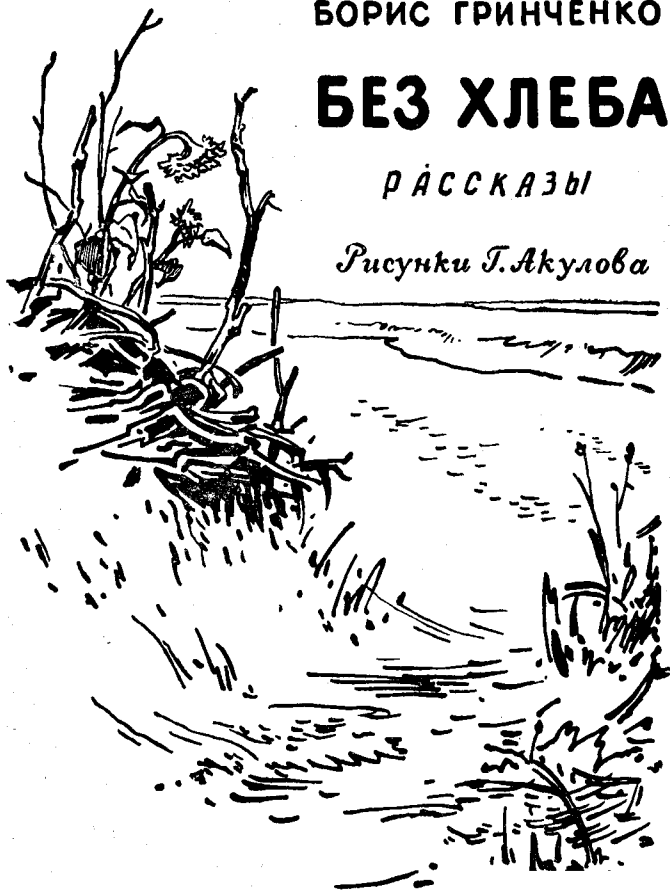
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

БОРИС ГРИНЧЕНКО

# БЕЗ ХЛЕБА

РАССКАЗЫ

Рисунки Т. Акулова



Государственное Издательство Детской Литературы  
Министерства Просвещения РСФСР  
Москва 1960

*Перевод с украинского*  
**КОНСТАНТИНА ТРОФИМОВА**

## Б. Д. ГРИНЧЕНКО

Вы, ребята, разве только из книг, произведений живописи да из рассказов стариков узнаете о том, как учились дети до революции, какие в то время были школы, чему в них обучали детей и как трудно было попасть в школу простому человеку из народа.

Многое узнаете вы о старой школе, прочитав эту книгу. Ее автор — украинский писатель Борис Дмитриевич Гринченко — до революции многие годы был народным учителем, работал в сельских школах Харьковщины и Екатеринославщины<sup>1</sup>.

\* \* \*

Тяжела и беспросветна была жизнь крестьян старого, дореволюционного села. Нищета, несправие, темнота, забитость были постоянными спутниками горького крестьянского существования. В селе вершили делами помещики, кулаки, тупые, невежественные урядники и писаря. Очень часто сельский писарь в кругу местных властей был единственно грамотным человеком и, выполняя волю своих хозяев, творил жестокий произвол за взятки, осуждал правых, оправдывал виновных, пускал по миру беззащитных.

---

<sup>1</sup>Екатеринославщина — старое название Днепропетровщины на Украине.

Когда мы сейчас говорим о школе, то обычно представляем себе светлые классы, кабинеты и мастерские.

Совсем по-иному выглядела дореволюционная сельская школа, описанная автором этой книги. Дырявая крыша под низким потолком, изрытый каблуками земляной пол («доливка»), ломаные парты, столы и стулья были обычным явлением. Одна из школ, в которой работал учителем сам Б. Гринченко, находилась в полуразрушенном доме, где невозможно было укрыться даже от дождя, не то что от холода.

Борис Дмитриевич Гринченко родился 9 декабря 1863 года на Украине, близ города Харькова, в семье небогатого помещика. Когда будущему писателю исполнилось одиннадцать лет, его отдали учиться в Харьковское реальное училище.

В это время (70-е годы прошлого века) в России усиливалось революционное движение. Революционно настроенная интеллигенция и учащаяся молодежь «пошла в народ», в деревню, в надежде поднять крестьян на борьбу с самодержавием. С этим и связано название «народники» — так называли идеологов и сторонников крестьянской революции в России.

Народники не понимали, что главная революционная сила в стране — пролетариат и что только он в союзе с крестьянством способен осуществить социалистическую революцию.

Идеи народников захватили и Б. Гринченко. Он зачитывается запрещенными цензурой книгами, разоблачающими царское самодержавие, и за это попадает в тюрьму.

Ввиду того что Б. Гринченко был еще несовершеннолетним, его не очень долго держали в тюрьме. Но, выйдя на свободу, он уже не мог продолжать учебу: дверь училища для него оказалась закрытой.

С этой поры для Б. Гринченко начинается жизнь,

полная лишений. На протяжении двух лет он зарабатывал себе на хлеб тем, что переписывал в канцелярии бумаги; изредка ему удавалось достать работу репетитора в богатых домах и за гроши обучать детей богачей. Значительную часть своего заработка Б. Гринченко тратил на книги и продолжал упорно учиться самостоятельно. Спустя два года ему с большим трудом удалось сдать экзамены при Харьковском университете и получить право работать учителем.

Б. Гринченко много лет был учителем в селах. Ежедневно, ежечасно сталкивался он с жизнью крестьянской бедноты, чьих детей обучал.

Благодаря этому писатель хорошо узнал душу простого человека, особенно детей. Он с большой теплотой рисовал в своих рассказах светлые, поэтические образы мальчиков и девочек, горячо проникаясь их горестями, печалью, надеждами.

Нас не может не потрясти трагическая судьба маленького Петруся из рассказа «Поджигатели». Мальчик вместе с другими ребятами поджигает барское сено и сам гибнет в огне.

Читателя глубоко трогает рассказ «Отец и дочь». На плечи девочки Маруси, потерявшей мать, ложатся все заботы по дому. Отец ее от зари до зари работает на шахте. Живут они в казенной землянке, темной и сырой. Девочка заботится об отце, насколько хватает у нее сил: готовит ему обед, чинит одежду, стирает. И вместе с отцом она мечтает о счастье, которое якобы придет к ним, когда они купят хату и клочок земли.

В рассказе «Непокорный» писатель изображает то, что ему самому пришлось пережить и почувствовать. Честный трудолюбивый сельский учитель вступает в неравную борьбу с местными властями — писарем, старшиной и полицейским урядником. Борьба эта завершается тем, что на учителя, который имел «неосторож-

ность» дать ученику для чтения книгу по географии, написали «доношение» о том, будто «учитель нимало в школе не учит, а лишь занимается припагандою и книжки мыслей безбожных расширяет и разные речи относительно против властей...»

И, конечно же, «доношение» сделало свое черное дело. «Учитель был вынужден искать работу в другом месте».

Все рассказы Б. Гринченко о детях и о взрослых проникнуты большой любовью к труженикам, полны горячего сочувствия к простым людям, жаждущим лучшей жизни. Произведения покоряют читателя своей правдой и глубоко впечатляют.

Писал Б. Гринченко не только рассказы. Он является автором и широко известных на Украине повестей: «Солнечный луч», «Среди темной ночи», «Под тихими ивами», в которых показана жизнь крестьян и интеллигенции в дореволюционное время.

Кроме повестей, рассказов, пьес, стихов, басен, писатель создал еще четырехтомный украинско-русский словарь. Он был его составителем и редактором. Книга эта — самая лучшая среди словарей, созданных на Украине в дореволюционное время, — не утратила своего значения и в наши дни.

Умер Борис Дмитриевич Гринченко 6 мая 1910 года в Италии, где он находился на лечении. Прах его для погребения был перевезен в Киев.

Среди большого литературного наследия, оставленного писателями прошлого, произведения Б. Гринченко занимают одно из почетных мест и прочно вошли в сокровищницу нашей литературы.





## ЭКЗАМЕН

Сегодня в Тополевской школе большое событие: на этот день назначен экзамен, и присутствовать на нем будет член школьного совета. Поэтому-то еще со вчерашнего дня в школе готовятся к этому: и молодой, первый год работающий учитель и сторож Кирилл Криворукий трудятся не покладая рук. Еще вчера маленькую комнату, размером около сорока квадратных аршин, которую волостное управление выделило в своем доме под

школу, стали приводить в порядок. В земляном полу засыпали все ямки, а потом сторож подмазал их глиной и строго приказал школьникам, чтобы они как можно осторожнее ступали своими ногами по этим примазанным местам.

— А то возьмет да и начнет шаркать сапогами! Нет бы осторожно, легко ступать, а он все топчется на месте. А ты ходи следом за ним, подмазывай да выравнивай! Вот приедет господин, он вам задаст!

А тем временем учитель, засучив рукава, собственными руками заделывал дыры в стенах и на печке, старательно замазывал трещины желтой и белой глиной, не считаясь с тем, что эта работа совсем не входила в его обязанности. Что ему оставалось делать, если он не смог добиться, чтобы волостное управление прислало ему мазальщиц? Ученические парты, которые зимой несколько раз от ветхости разваливались под учениками, теперь сбили гвоздями, клиньями, и они выглядели даже как-то наряднее, и все же сторож Кирилл вынужден был сказать учителю, что если они, школьники, не будут остерегаться, то «вон та дьявольская последняя парта как бы не рухнула, ибо к ней никак нельзя пристроить одну ножку». Да и стул учителя, который как-то случайно, наверное, попал в школу, тоже нуждался в лекаре, и учителю долго пришлось повозиться с ним, чтобы у него стало вместо трех четыре ножки, как у других порядочных стульев. Еще два стула достали, один у батюшки, второй у волости — для самого батюшки и для «члена».

Сегодня и школьники пришли в праздничной одежде: чуть ли не на каждом была новая свита, а то и чумарка<sup>1</sup>, все были обуты.

Сторож вытирал последние три окна школьной светлицы. Батюшка и учитель беседовали друг с другом, беспокоясь о школьниках, которые могли провалиться на экзаменах.

Школьники тоже возбужденно разговаривали между собой.

— Зачем он, этот господин, едет к нам? — допытывался малыш, первый год ходивший в школу, у своего старшего товарища.

<sup>1</sup> Свита, чумарка — верхняя длиннополая одежда со сборками в талии.

— Будет спрашивать, чему мы научились.

— А он какой? Страшный?

— Откуда я знаю — я и сам не видел его! Спроси у Алексея Петровича.

— Алексей Петрович, — обращается школьник к учителю, — а он страшный?

— Кто?

— Тот господин, что приедет к нам?

Учитель старается уверить учеников, что «тот господин» совсем не страшный.

— Он нас не будет бить? — не унимался малыш.

— Да нет! Кто же здесь посмеет бить? — важно уверяет другой ученик.

— Ого, не посмеет! А если спросит, да ты не будешь знать, тогда что? Тогда бить будет...

В другом углу класса, где сидят самые старшие ученики, стоит гул от зубрежки, потому что каждому хочется получить «свидетельство».

Один малыш забился в угол и водит перепуганными глазами во все стороны: он заранее испугался «господина».

— Я убегу, когда он приедет! — шепчет малыш на ухо своему товарищу.

Вдруг раздался крик. Это какой-то слишком смелый ученик, которого несколько не пугал приезд «господина», огрел по спине своего товарища.

— Половина десятого, — произнес батюшка. — Пускай садятся. Должно быть, скоро приедет.

Учитель посмотрел на часы священника (ни в школе, ни у него часов не было) и велел дежурному позвать в класс школьников, находившихся во дворе.

Школьники гурьбой повалили в класс и, столпившись возле двери, начали снимать свитки, складывая их в кучу на глиняный пол в классе. Кто-то толкнул кадку с водой, стоявшую тут же, и облил одежду. Смех и крики. Появился сторож и, бормоча себе под нос что-то о «непутевых сорванцах», снова привел все в порядок.

Прочитали молитву, сели. Учитель и батюшка, разделив школьников на две группы, стали проверять их знания, мешая друг другу. Но дело у них не клеилось; и учителя и школьники были обеспокоены.

Кое-как прошел час времени. Почему же он не едет?

Учитель снова отпустил школьников во двор. Младшие убежали, а старшие, сдающие экзамен на «свидетельство», снова взялись за книги. Батюшке надоело ждать, и он ушел домой, попросив прислать за ним, как только приедет член училищного совета.

А члена совета все не было. Старшие ученики еще усерднее принялись зубрить, не обращая внимания на слова учителя, уговаривавшего их побегать по двору, отдохнуть перед экзаменом.

Проходит час, второй, третий. Грозный господин, заставлявший себя так долго ждать, теперь нагнал на школьников еще больший страх. И устали, и господина боятся, вот так бы и убежал.

Наконец часа в три вдруг раздался звон колокольчика.

— Едет, едет! — пронесся шепот среди школьников.

В тот же миг сторож Кирилл, приоткрыв дверь, сообщил:

— Едет! Уже возле шинка Стецка.

Учитель послал одного ученика за батюшкой. Школьники повалили в класс. Мгновенно они заняли свои места, выпрямились и затихли. Маленький школьник, который со страха хотел убежать из школы, забился в угол и весь съежился, будто старался стать невидимым. У многих перехватило дыхание. Ученики полуиспуганно, полуудивленно прислушивались к колокольчику, который все громче и громче вызванивал и, наконец, в последний раз громко звякнув, замер у порога школы. Приехал! Все взоры устремились на дверь. Многие ученики побледнели; некоторые испуганно шептали: «Господи, помоги!..» Потом послышался голос Кирилла:

— Сюда! Вот сюда, пожалуйста!

Дверь отворилась, в класс вошел член училищного совета. Ученики встали.

Не отвечая на их приветствие, он подошел к учителю:

— Вы учитель?

— Да, я учитель.

— Член училищного совета Куценко.

Господин Куценко в течение двадцати пяти — тридцати лет был волостным писарем, а жена его торговала бакалейными товарами. И на писарской службе, и в торговле ему так повезло, что через десять лет у него

уже был собственный магазин в уездном городе, и, постепенно продвигаясь по службе, из писаря он превратился в значительную персону в городе. Совсем недавно он был городским головой, а сейчас директором уездного банка, который из-за его махинаций в скором времени должен погореть, а с ним и он — член земской управы и училищного совета, — потому и разъезжает по сельским школам на экзамены, как председатель «экзаменационной комиссии». Но так как неопределенные гласные и согласные, проклятая буква «ѣ», да и всякие другие хитрости русского правописания никогда не давались господину члену совета, то он, разумеется, на экзаменах по русскому языку предпочитал молчать. На экзаменах по закону божьему и по арифметике он обычно чувствовал себя свободнее, особенно, когда дело касалось счета. Арифметику в пределах целых чисел он хорошо изучил, еще будучи писарем, а директорская должность в банке дала ему возможность одолеть и дроби, и во время экзаменов господин особенно налегал на задачи. Он всегда возил с собой свой задачник, где бумажечками и карандашом были помечены задачи, которые обычно и непременно давал решать школьникам. Ко всему этому следует еще добавить, что, стараясь выдать себя за господина, он безжалостно извращал и украинский, и русский язык, пренебрегая первым и не зная второго.

Пришел батюшка, сели за стол. Член училищного совета вытащил какие-то бумаги и разложил их на столе. Рядом положил потрепанный задачник Евтушевского с бумажными закладками, ручку и карандаш, извлеченные им из кармана.

Порой кто-нибудь из учеников тихо шептал:

— И у него задачник есть!

— Перо, как серебряное, блестит...

— Дайте список учеников! — громко сказал председатель экзаменационной комиссии.

Ему подали реестр, и он уткнулся в него носом. Стало тихо-тихо, слышно было, как муха, летая, звенела крыльями. Школьники теперь уже не перешептывались — они ждали, что будет.

— Байденко Иван! — громко произнес господин член совета.

Вызванный ученик вскочил и стал пробираться между рядами тесно расставленных парт. Ноги его не слушались, цеплялись за ножки парт; чувствовалось, что парнишка испугался. Наконец, выбравшись, он робко подошел к столу и поклонился.

— Ну-ка по закону! — буркнул член совета. — Читай молитву господню.

Ученик дрожащим голосом начал:

— «Отче наш, иже еси...»

— Тройце! — прервал его член совета.

Мальчик прочитал.

— А што ето такое тройца? — спросил член совета.

Ученик старается что-то ответить, но не может.

— Ну, ну! — поторапливал его батюшка. — Я ведь вам это объяснял. Как же ты не знаешь?

— Тройця... — начал школьник и запнулся. — Тройця... это бог отец, и сын, и дух святой...

— А что же ето, три бога? — допрашивает его член совета.

— Нет, один...

— Ну как же это один? Расскажи!

Ученик молчит.

— Ну, чего же ты молчишь? — снова обращается к нему батюшка. — Ты же знаешь!

Ученик то краснеет, то бледнеет, то дрожащей рукой трет лоб; видно, как замигали и увлажнились его глаза, задергались губы. Ему стало страшно.

— Ето значит... обикновенно, это все равно что вот свет от солнца исходит и што того... как его... Объясните ему, батюшка! — закончил член совета, который хотел привести известное сравнение из библейской истории Рудакова, но не смог и запутался.

Батюшка объяснил.

— Теперь по священной истории... — произнес учитель.

— Расскажешь про Ноя и его сыновей? — спросил батюшка.

— Расскажу... — ответил, немного успокоившись, ученик и стал рассказывать.

— А што, — неожиданно перебивает его член школьного совета, — хорошо сделал Хам с отцом?

— Нет...

— Обикновенно, он отца не уважал, насмеялся над ним... За это его и наказали. А ты уважаешь своего отца? Слушаешься?! — вдруг грозно спросил ученика член совета.

— Слушаюсь... — отвечает ученик, испугавшийся его окрика.

— То-то! Всегда должно слушаться, потому как отец, обикновенно, есть родитель! — произносит член совета, обращаясь уже ко всем школьникам, которые со страхом смотрели на все происходящее в классе.

— Теперь по арифметике! Вот это я уже сам спрошу, — говорит член совета.

В этой области господин Куценко мог проявить себя, и, раскрыв свой задачник и отыскав по закладкам задачи, он стал мучить ими ученика. К счастью, ученик знал арифметику.

— Теперь по русскому языку!

— Читай! — сказал учитель, подавая ученику книгу.

— «Мартышка в старости слаба глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки, лишь стоит завести очки...»

— Расскажи!

Ученик, коверкая русский язык, пересказывает прочитанное, путаясь и говоря чепуху:

— ...она слыхала, что у людей большие руки и очки... Стоит и крутит хвостом...

— Да, очки надела, — добавляет член совета. — Хорошо! Будет! — сказал он и, наклонившись над реестром, хотел написать «балы».

— Может быть, пусть еще напишет? — спросил учитель.

— Мм... — буркнул член совета, вспомнив, наверное, о непостижимых правилах правописания. — Пушай пишет!..

Учитель читал какой-то отрывок из книги, а ученик писал на классной доске. Потом стали исправлять ошибки. Член пододвинул к себе книгу и, проверяя по ней написанное, нашел две ошибки. А их было еще пять, но член совета сказал, что все остальное написано правильно, и мальчика отпустили.

Таким же образом экзаменовали и следующего школьника. Только когда подошли к арифметике, бед-

няга никак не мог решить задачу; безуспешно помогал ему учитель, напрасно торопил его член совета. Наконец член школьного совета не выдержал.

— Што это? — вдруг закричал он. — Арифметики не знают, считать не умеют! Вы, учитель, вы ничего не делали! Я на вас рапорт подам в училищный совет!

• Бедный учитель только ерзал на стуле. Школьники сидели белые как мел.

Вдруг в классе раздалось всхлипывание, вначале приглушенное, а потом все сильнее и громче и, наконец, вылилось в громкое рыдание. Плакал малыш, который еще заранее собирался убежать из класса, испугавшись «господина» члена совета.

— У-у! Я не хочу тут! Я не хочу! Я пойду домой!.. — рыдая, говорил он.

Услыхав плач, член совета замолчал. Учитель подбежал к школьнику. Но тот не поддавался уговорам, непрерывно плакал и умолял отпустить его домой. Пришлось отпустить ученика из школы.

Член училищного совета увидел, что переборщил, и умолк. Экзамен остальных шестерых учеников, сдававших на «свидетельства», проходил спокойно, даже слишком, потому что все они «арифметику» знали, и у господина члена совета не было причин сердиться.

Наконец экзамен закончился. Господин член совета поднялся.

— А остальных не будем экзаменовывать? — спросил учитель, показывая на школьников первого и второго классов.

— Нет... Да они умеют читать? — произнес утомленный член совета, поглядывая на часы: было уже шесть часов. — Ребята, читать умеете? — спросил он у школьников.

— Умеем... — робко ответили некоторые.

— А считать? Ну, дважды семь?

— Четырнадцать! — ответили хором.

— А двадцать пять без семи?

— Восемнадцать.

— Ну... — промолвил член совета в нерешительности.

— Может, закусить бы? — произнес батюшка.

— Обикновенно... не мешало бы... Ну, дети, — снова обратился член совета к школьникам, которые



почему-то встали, — значит, вы теперь получите свидетельство, которые экзамен сдали, а которые нет, то, обыкновенно, учитесь, потому што наука... то есть потому, что без ее человек темный. А арихметику, особенно арихметику, должны знать. Потому, обыкновенно, арихметика — это великая наука!.. — И, подчеркивая большое значение «арихметики» как науки, господин член совета поднял вверх палец и помахал им в воздухе.

Затем красноречие члена совета иссякло, и он умолк, не зная, что говорить дальше. Школьники, батюшка, учитель тоже стояли, не зная, что им делать.

— Так вот што... как его... — начал снова член совета, вспомнив, как однажды он был на экзамене вместе с инспектором и как тот закончил свою речь: — школа у вас хорошая, и я так доложу совету. И арихметику знают. Один не знает, ну да ето уж ничего... — И член совета, так же как и инспектор, подал руку учителю и батюшке.

— Так их можно отпустить? — спросил учитель.

— Ага, да...

— Читайте молитву! — сказал учитель.

Ученики, топая ногами, повернулись к иконе. Прочитали молитву.

— Ну, теперь... как его... идите домой!.. — начал член школьного совета. — А мы к вам, батюшка. Обыкновенно, нужно закусить. Может быть, того... и водочка?

— А всенепременно! Как же! Пожалуйте!..

— С удовольствием... Вот мы там и протокол экзаменский подпишем...

1884 г.





## НЕПОКОРНЫЙ

I

Теперь уже всем было ясно, что новый учитель — человек подозрительный. Тому немало доказательств.

Прежде всего, учитель никогда ни к кому не ходил (имеется в виду: ни к кому из местной знати) и все время сидел в своей школе, то занимаясь с детьми, то читая какие-то книги. Что это действительно так, может

подтвердить школьный сторож, который одновременно служил сторожем и в волостном управлении. Во-вторых, во внешности его не было ничего «благородного», разговаривал он «по-мужицки» и только своей одеждой отличался от крестьян. В-третьих, на переменах он дурачился со школьниками, как маленький, играя вместе с ними в мяч, бегая наперегонки или выдумывая еще какие-нибудь игры; такую «комедию» ежедневно могли наблюдать и староста, и писарь, и каждый, кто приходил в волостное управление, потому что школа находилась в одном дворе и даже в одном помещении с волостным управлением. В-четвертых, он сам готовил себе еду, да еще и вместе с теми школьниками, которые ночевали в школе. Наконец, он бродил по лесам и лугам, собирал какие-то цветы, камешки и всякую другую дребедень и все это старательно прятал. По поводу последнего пункта жена старосты даже как-то высказала предположение, не ворожей ли он какой-нибудь, но образованный писарь не придавал ее словам значения, а старшина сказал жене, чтобы она не вмешивалась туда, куда ей не следует.

Но это еще не всё. Он был непокорным и неучтивым с начальством. Вместо того чтобы поблагодарить за две поломанные скамьи, которые волостное управление выделило школе, и самому заклеивать разбитые стекла бумагой, он требовал, чтобы ему сделали новые парты, застеклили окна и даже покрасили старую классную доску, будто бы потому, что на ней уже нельзя писать мелом. И так как волостное управление, разумеется, не обратило внимания на эти странные требования, то он осмелился написать об этом в земскую управу, добавив, что деньги, выделенные общиной школе, лежат в карманах у волостных и не расходуются по назначению. Управление же поверило учителю и прислало строгий приказ, чтобы староста без промедления исправил школьную мебель и сделал в школе все, что нужно. Хотя мебель, конечно, не починили и в школе ничего не сделали, но в управление написали, что все будет исполнено, однако такой поступок учителя убедительно доказывал, что он человек беспокойный.

Наконец, волостной писарь, который уже двадцать один год занимался писарством, прошел сквозь сито и

решето и хорошо знал; где чем пахнет, догадался, что этот учитель... тово... Об этом он говорил даже с урядником, жившим в другой волости. И тот, вполне согласившись с ним, сказал:

— Среди них очень много мошенников... Они — сицилисты, только так, знаете, выдают себя за учителей.

И урядник пообещал вскоре приехать и все «расследовать».

Вот в этом и заключались провинности учителя, и так их истолковывали вечером в день... студня<sup>1</sup> 188... года волостной староста Пастушенко, полицейский урядник Швидков, волостной писарь Левшин, сельский староста Губань, сельский лавочник, шинкарь и волостной почтальон Семен Алексеевич Пупченко, у которого собралась вся эта честная компания выпить по чарке.

Разговор начался, кажется, после восьмой чарки с того, что Пупченко рассказал своим гостям, как он «для шутки» посылал к учителю с приглашением пожаловать к нему в гости и как тот отказался, ссылаясь на занятость.

— А сын мой, который ходит в школу, говорит мне, — продолжал Семен Алексеевич, — что иногда он все-таки шляется в гости. Только, как вы думаете, к кому?.. К Семену Попенко!

— К Семену Попенко? — удивились гости. — Так ведь у Семена самого нечего ни есть, ни пить и не во что одеться... Чем же ему гостей-то угощать?

— А вот видите, к нему ходит! И сына Семена, говорят, любит, так любит!..

А затем присутствующие, постепенно припомнив все вышеописанные провинности нового учителя, преисполнились чувством гнева против таких, из ряда вон выходящих его поступков. Но еще большее возмущение охватило их тогда, когда волостной писарь Левшин выступил со своей знаменитой речью. Он сказал:

— Все, что вот сейчас я услышал, не кажется мне слишком удивительным. Всякому известно, что эти молодые господа, которых земская управа нам прислала,

---

<sup>1</sup> Студень — декабрь.

ничего не знают и умеют только гонять с мальчишками в мяча...

— Да, что верно, то верно, — перебил его староста. — Разве нынче учат? Вот когда старый дьяк Панасович учил, так, бывало, идешь мимо школы, а там такой шум, такой рев стоит — все они эти склады складывают. А теперь что? И мой сын ходил в школу, да потом я его взял оттуда. Как-то приходит он домой, я и спрашиваю: «Ну, что ты в школе выучил?» — «Ничего, говорит, не выучил». — «А что вы там делали?» — «Да, говорит, учитель стал перед нами и велит: тяните, говорит, за мной: о-о-о! А мы тоже кричим: о-о-о! А он снова — говорите: гирр! Мы как зарычим: гирр! гирр! гирр!» Вон какая история: рычать нынче в школе учат! — добавил староста.

Услышав это, все захохотали. Писарь умолк, но, когда прекратился смех, он продолжал:

— Так вот я и говорю: все это для меня совсем не удивительно. И то не удивительно, что он пустился на клявзы: ежели ребята ничего не знают, надо же хотя тем себя выгородить, что парт нету. Но мне удивительно и страшно другое...

При этом писарь сделал минутную паузу, словно для того, чтобы дать возможность слушателям подготовиться к этому другому «страшному». И в самом деле, все насторожились, а урядник зачем-то добавил:

— Диствительно!

Видя это, писарь снова начал:

— Вот Семен Алексеевич говорят: к ним не пожелал зайти, а к голодранцу Семену ходит и сына, мальчишку его, полюбил. Видите: к почтенному человеку не пошел, а пошел к оборванцу и его сына любит. Что из этого вытекает, следует? А следует то, что он благосклонно относится к голытьбе и кумпанию с ней водит, а с голытьбой, известно, какие разговоры: про богатых да про начальство! Слышите, какие разговоры?..

Писарь снова сделал паузу и посмотрел вокруг. Все слушали его с большим вниманием. Урядник еще больше нахмурился и старался смотреть так, как смотрит в таких случаях сам исправник. Ему хотелось доказать всем, что в таком деле только он, урядник, может как следует разобраться, но, к сожалению, нагайка, которой он часто

избивал крестьян, слушалась его куда лучше, чем язык, и, приняв позу исправника, он снова повторил:

— Диствительно! — а потом добавил: — Возмутитель! Прокламацию пушает.

Писарь продолжал дальше:

— Теперь второе: почему он, когда староста, или господин урядник, или я, или еще кто-нибудь из начальства — вот хотя бы почтосодержатель Семен Алексеевич — идет, никогда первый не снимет шапку? Почему, спрашиваю, и что из этого получается, следует?

— Да, что правда, то правда, — отозвались староста и хозяин, — это мы давно за ним заприметили. Никогда сам не поздоровается. Наверное, ждет, чтобы мы раньше перед ним шапку сняли...

— Потом вон што, — вел дальше писарь: — однажды прихожу я к нему, думаю так — зайду проведу человека, поговорю, как с образованным. Захожу, а он книгу читает. «Здравствуйте, говорю, Василий Дмитриевич!» — «Здравствуйте», говорит, а сам встал, книгу закрыл, спрятал ее в шкаф и запер на ключ. Я у вас спрашиваю: на што ему эту книгу прятать, ежели она такая как нужно книга? А ежели прячет и по ночам книги читает, так что тут получается? Получается и следует, что это такие книги, которые нельзя читать при посторонних.

— Диствительно! — воскликнул урядник. — А я еще осенью получил секретную бумагу от господина станового пристава: кто учитель, звание? И потом: способен ли он к отправлению своих обязанностей? Конечно, я отвечал: не способен, потому как возмутитель! И запрещенная книга все равно что прокламация!

— А-а, так вот что это за птица! — воскликнул Пупченко.

— Именно! — подтвердил писарь. — Видели, какие у него волосы длинные?

— А что же тут такого, если длинные волосы? — спросил староста.

— Как — что? А это же у них, сицилистов, примета такая, знак, значит, такой, чтобы свой своего узнавал.

— Диствительно!

После такой речи писаря, как я уже говорил, все стали выражать свое глубокое возмущение. Чарка все

время переходила из рук в руки, а гнев против учителя все нарастал... Говорили много и долго и, наконец, посоветовавшись, решили поступить так:

а) чтобы наказать учителя за его пренебрежительное отношение и непочтение к своему начальству, не давать ему больше дров;

б) заставить родителей забрать своих детей из школы, пока он их окончательно не испортил;

в) расспросить в селе, о чем разговаривает учитель с людьми, а самое главное — с Семеном Попенко, а также, если будет возможность, заглянуть тайком и в его шкаф с книгами (поговорить с крестьянами должен был урядник, поручалось это также и писарю, а в отношении шкафа рассчитывали на помощь сторожа).

— А потом, когда мы все это расследуем, тогда можно будет и прижать его! Уж я-то знаю, как это сделать! — сказал писарь.

— Окончательно! — добавил урядник. — Тогда мы доношение секретное, и его голубчика — фить!.. А вы, Фома Григорьевич, — обратился он к писарю, — неукоснительно сообщайте мне, потому что вам известно: я тут не живу, и мне за всем не успеть, потому как секретных дел множество.

Приняв такое решение, выпили еще по одной перед уходом, по второй на дорогу, по третьей за добрые пожелания, и, пошатываясь во все стороны, гости разошлись по своим домам, хотя нужно добавить, что староста до своего так и не дошел — заночевал у писаря.

## II

Как решили, так и сделали. На следующий день учителю не дали дров и со сторожем передали: «Это чтобы благопристойным был!»

Кроме этого, приказали сторожу не слушаться учителя, если тот будет заставляя его что-нибудь делать.

Дети мерзли, учитель ходил в волостное управление, ругался, однако преодолеть упорство сельских заправил так и не удалось. Тогда учитель решил снова написать об этом в земскую управу, но волостной писарь, догадавшись, что находится в пакете, присланном учителем для отправки, вернул его обратно, сообщив при этом, что

по закону волостное управление не имеет права пересылать пакеты без гербовой печати.

Так прошла неделя.

Хотя учитель и страдал от холода порядком, но его непокорность не была сломлена, а более того, он сам хотел было ехать в уездный город в земскую управу, но Пупченко, разумеется, не дал ему лошадей.

— Ну, а для того чтобы нанять лошадей, ему надо затратить два рубля, а где их взять, — говорил старосте писарь, — когда учитель уже третий месяц не получает жалованья, и теперь у него в кармане пусто!

— А когда сборщик ездил в город, разве он не брал у него доверенности на жалованье, чтобы получить в управе деньги? — спросил староста.

— Как бы не так! Я приказал, чтобы не брал. Увидим теперь, как учитель свои деньги получит! — ответил писарь.

Это была правда. Учитель не имел возможности обратиться из села. Да к тому же после оттепели ударил мороз, и дорога стала совсем непроезжей. Таким образом, наказание, придуманное сельским начальством, достигло своей цели. Если к этому добавить, что сторож, выполняя приказ начальства, не носил в школу воду и ничего не делал, то с уверенностью можно сказать — учитель хорошо прочувствовал, что значит гнев начальства.

Не так легко было выполнить второй пункт решения. Хотя сельский староста вместе с волостным старостой даже в волостное управление вызывали некоторых родителей и уговаривали их забрать своих детей из школы, добавляя при этом, что за тем или другим мужиком была такая-то недоимка, потому не мудрено и в «холодную» попасть, и, хотя в школе было холодно, дети все-таки ходили учиться, а некоторые родители в ответ на предупреждения и приказы начальства говорили:

— А что я ему сделаю? Я ему твержу: не ходи в школу, староста ругается! А он говорит: мне нужно учителя слушать, а не старост.

— Замечаете, замечаете, Михаил Степанович? — говорил писарь старосте. — Замечаете? Против начальства настраивает!

— Да как же они учатся в холодном классе? Там



ведь так холодно — хоть волков гоняй! — спрашивал староста у сторожа.

— Да так: школьников много, а комнатка маленькая, да покуда они сидят в классе, то оно и ничего — от духу нагревается, к тому же все они сидят в свитках и в кожных.

— А сам мерзнет?

— Иногда мерзнет, а когда ребята приносят ему из дому дрова, так он топит у себя печь.

— Что же это? Он им велел дрова носить или как?

— Да где там! Проклятушие ребята очень любят его! Даже воду ему носят.

— А ты им ведер не давай! — велел писарь.

— Так я и не даю. Кто-то из учеников из дому принес ведра, вот теми и носят.

— А ты следи за учениками: только какой-нибудь из них воду или дрова тащит к учителю, а ты его в шею!

Наконец остался еще третий пункт решения. Однако тут ни староста, ни хитроумный писарь ничего не могли сделать. Помог им урядник, который в это время заехал в волостное управление.

— Что же, как следствие? — спросил он.

Ему рассказали, как обстоит дело.

— Нехорошо! — покачал головой урядник. — Должно вам принимать меры. От высшей власти приказ — пропаганду ловить и всячески преследовать. Неукоснительно старайтесь! А то будете вы виноваты.

И он дал им инструкции.

Староста и писарь испугались и еще усерднее принялись «ловить пропаганду».

Но как они ни доискивались, какие разговоры ведет учитель с крестьянами, никто ничего не говорил: то ли не хотели, то ли в самом деле нечего было сказать. Один только рыжий Герасим пообещал кое-что рассказать, если ему дадут на четвертинку, и действительно сказал, будто бы учитель говорил ему, что было бы неплохо убрать к черту старосту.

— А про богатых ничего не говорил? — спросил писарь.

— Про богатых? — не понял Герасим. — Нет, про богатых говорил... говорил, что было бы хорошо, если бы все богатыми стали.

- А книг никаких не давал?
- Книг? Нет, давал и книги всякие.
- Кому же он давал? Какие книги давал?
- Кому давал? Давал... Я уж не знаю, кому именно он давал, только давал разные.
- Ну, а ту... как ее?... Пре... пра... Та как оно, Фома Григорьевич? — спрашивает староста у писаря.
- Прикламация! — ответил тот.
- Ага, прикламация! Так прикламиции этой не говорил, не делал?
- Чего? — спросил Герасим. — Что оно такое?

Но этого не знали ни сам староста, ни писарь. На этом они и закончили допрос Герасима, поняв, что от него ничего путного не узнаешь. Да и всякому в селе было известно, что Герасим за четвертинку и родного отца продал и его уличили во лжи в волостном суде, где он часто выступал в качестве свидетеля, а однажды даже избили за ложные показания. Но за неимением другого можно было воспользоваться и Герасимом, чтобы наказать непокорного.

И писарь приказал Герасиму:

- Смотри не забудь того, о чем говорил!
- Ну, боже мой! С чего бы это я забыл? Никогда в жизни не забуду, только дайте на четвертинку!

Учитывая, что Герасим еще может пригодиться, староста дал ему из общественной кассы на четвертинку.

Оставалось только узнать, какие книги читает учитель. Но выяснить это им не удавалось, потому что учитель, уходя со школы, каждый раз замыкал ее. Писарь уж и так и этак ухищрялся, но ничего не получалось.

— А может быть, так: в его присутствии обыск сделать? — сказал нетерпеливый староста. — Ведь проще всего сказать: а давай-ка, такой-сякой, какие у тебя книги против начальства есть!..

— Нет, Михаил Степанович, так нельзя. Нужно это делать осторожно, — отвечал политичный писарь.

Но, чтобы учитель не забыл, что начальство всякими способами может наказать непокорного, писарь все-таки кое-что придумал.

Так называемая «холодная» была отделена от школы только тонкой перегородкой (школа, как уже было ска-

зано, помещалась в одном здании с волостным управлением). Этим и воспользовался писарь, хотя сам он ничего не делал, а поручил заниматься этим старосте. А тот в этот же день вызвал рыжего Герасима, снова, вытащив деньги из общественной кассы, дал ему на четвертинку и, проинструктировав соответствующим образом, посадил в «холодную» именно тогда, когда в школе шли занятия.

Герасим хотел честно заработать свои деньги и тотчас принялся кричать, а потом колотить кулаками в стену школы. Стена была ветхая, построенная из плохого, корявого дерева, и Герасим довольно легко пробил в ней дыру, просунул голову в класс и, прикидываясь пьяным, стал на все лады поносить учителя и школьников, и так напугал детей, что некоторые из них чуть было не убежали домой.

На следующий день писарь, лукаво поглядывая на старосту, сказал:

— А знаете, Михаил Степанович, общество ругает нас за учителя.

— Как?

— Да так! Говорит: детей заморозили, и всё...

— Общество? — воскликнул староста. — Начхать мне на общество! Я начальник? Разве общество может командовать мной? Я! Я все могу! А то, что общество избирало старосту, так мне на это начхать! Это когда-то, может быть, так было, а нынче разве общество назначило меня или будет назначать? Кого исправник захотел, того и поставили. Я являюсь старостой, а староста теперь начальник, оставленный исправником, а не обществом. Ведь не общество будет бить меня по морде за непорядки, а он...

— А вот люди все же говорят, что будут жаловаться, — еще более лукаво добавил писарь.

— Пускай! Мне от этого ни холодно, ни жарко. Вот я им покажу! Я им школу разгоню и учителя выгоню вон, к чертям! — кричал уже совсем взбесившийся общественный репрезентант<sup>1</sup>, начальник, господин староста, назначенный исправником.

И в тот же вечер, выпив хорошенько у своего кума, он зашел по пути в волостное управление и услышал, что

---

<sup>1</sup> Репрезентант — представитель.

в школе кто-то разговаривает, даже поет. Взбешенный такими беспорядками, он бросился в школу. Там находились учитель и три ученика, ночевавшие в школе. Это они и пели.

— Смирно! — гаркнул староста, открывая дверь и входя в класс. — Смирно, я вам говорю!.. Что вы тут кричите? Делом заниматься в волости мне мешаете!

Однако учитель и здесь не оробел перед начальством и осмелился сказать ему, старосте:

— Сейчас же вон отсюда!

— А, так ты, сякой-такой, начальство выгоняешь?! Замолчать! Р-раздеру!

Кажется, после такого категорического слова начальника каждый должен был бы покориться. Только ленивого ничем не проймешь. И хотя всем это покажется страшным, но должен вам сказать, что учитель выгнал старосту — так-таки просто-напросто взял да и выгнал, потому что был он человеком здоровым, да и палка какая-то оказалась у него в руках. И нет ничего удивительного, что староста, хотя и был крепко пьян, однако не решился вступить в поединок с таким бунтовщиком и, выругавшись еще раз или два, оставил помещение школы.

На следующий день после этого события в волостном управлении узнали, что занятий в школе нет, а учитель уехал в уездный город.

— Кто же повез его? — допрашивал сторожа сильно обозленный староста, потому что после вчерашнего ему казалось, что голова его стала такой большой, как пивная бочка.

— Да Григорий Дараган. Да еще и в набор<sup>1</sup>, сказал — потом отдадите, когда деньги получите.

— Гм... Ну, Григория нужно будет проучить!

— А что, — наедине спрашивал староста писаря, — не случится ли чего-нибудь после его поездки?

— Чепуха! Ничегошеньки не будет! Сами увидите, — успокаивал его писарь.

Учитель вернулся, а следом за ним пришел и приказ из земской управы. Управа, перечислив все поступки волостного старосты, строго предупреждала, чтобы

---

<sup>1</sup> В набор — в долг.

впредь ничего подобного не было, чтобы волостное управление удовлетворяло справедливые требования учителя, а также велела «донести», на основании какого права староста позволил себе «вышеизложенное».

Прочитав приказ, писарь улыбнулся и сказал:

— Ну, мы напишем такой ответ, что он нас долго будет помнить!..

«Он» — то есть учитель.

### III

Начальству посчастливилось. Проходя однажды по двору, староста заметил ученика, который нес в школу какую-то книгу.

«А ну-ка, что у него за книга?» — подумал староста и остановил школьника.

— А кто тебе, мальчик, дал эту книгу?

— Учитель.

— А ну-ка, дай ее сюда!

Мальчик, испугавшись, дрожащими руками отдал старосте книгу.

— Ну, а теперь иди домой! — приказал ему староста, а сам тут же пошел в волостное управление к писарю.

— А посмотрите-ка, Фома Григорьевич, что это за книга?

Писарь развернул учебник.

— Хм... что оно такое? А где вы ее взяли, Михаил Степанович?

— Да у школьника. Учитель дал ему.

— Учитель? А ну-ка, посмотрим!

И писарь стал внимательно со всех сторон рассматривать книгу.

— «География», — прочитал он заглавие. — Хм... кто его знает, что оно такое... — Потом он наугад развернул книгу и стал читать: — «Дождь происходит от паров, которые поднимаются от водяных вместилищ вверх и собираются там в виде облаков»... А-а, вот где собака зарыта! Вот! Слышите, Михаил Степанович, что в этой книге? Дождь не от бога, а от «паров». Вот оно что!

— Так это, значит, книга такая... против бога?

— Конечно!

— Так ее и тово... и начальству представить можно?

— А всенепременно... Ну теперь, голубчик, увидим! Теперь я накаваю! — крикнул писарь.

Но все же он поехал еще посоветоваться с урядником. И они накатали! Писарь исписал целую страницу бумаги, да еще как исписал! Я могу изложить его чудесное послание на том языке, на котором он сам его писал.

*«В н-скую земскую управу н-ского волостного управления.»*

### ДОНОШЕНИЕ

Оное Волостное Правление имеет честь донести, что топиливо для школы г-ну учителю всегда давалось в достаточности и ежели на каких два дня случилась приостановка, то единственно от недостачи общественных сумм, которых не доставало. И на щот оскорблений, то никаких таковых оскорблений волостной староста учителю не чинил, а, наоборот, всегда споспешествовал просвещения юношества и зайдя в школу как начальник, отечески пекущийся о благосостоянии, чтоб узнать необходимое для школы, но г-н учитель без всякого на то внимания поносными и дерзкими словами старшину изругал и выгнал прочь с устрашением с палкою, каковую для совершенно неизвестных, но весьма вредоносных намерений, постоянно при себе имея, как бы угрожая спокойствию.

И всякие другие г-на учителя жалобы единственно оттого, что он на волостного старосту и писаря злобу имеет и постоянно имеет между волостью истязание в рассуждение разных будто бы чинимых ему причепок, каковых причепок он есть причиною, а онных не существует. Сам же г-н учитель нимало в школе не учит, а лишь занимается припагандою и книжки мыслей безбожных расширяет и разные речи относительно против властей, чему примером крестьянин Герасим Рудой и свидетелем». . . и прочее.

К этому донесению приложил еще и книгу, которую староста отнял у школьника, — пускай начальство посмотрит.

Урядник же написал своему начальству еще похлеще. Он просто доносил, что учитель своими разговорами и книгами хотел учинить бунт в селе, а доказательством этому служит то, что мужики еще больше стали проявлять неповиновение, ибо они не совсем охотно здороваются с урядником.

И письма были направлены куда следует...

Спустя некоторое время в школу приехало школьное начальство. Оно сказала учителю:

— Почему вы здесь так плохо ведете себя? Какие-то там книги, разговоры ведете...

Бедный учитель хотел было оправдаться и стал доказывать, что книга, которую староста отнял у школьника, разрешена не только цензурой, но и «ученым комитетом» школ, но начальство не дало ему даже объясниться:

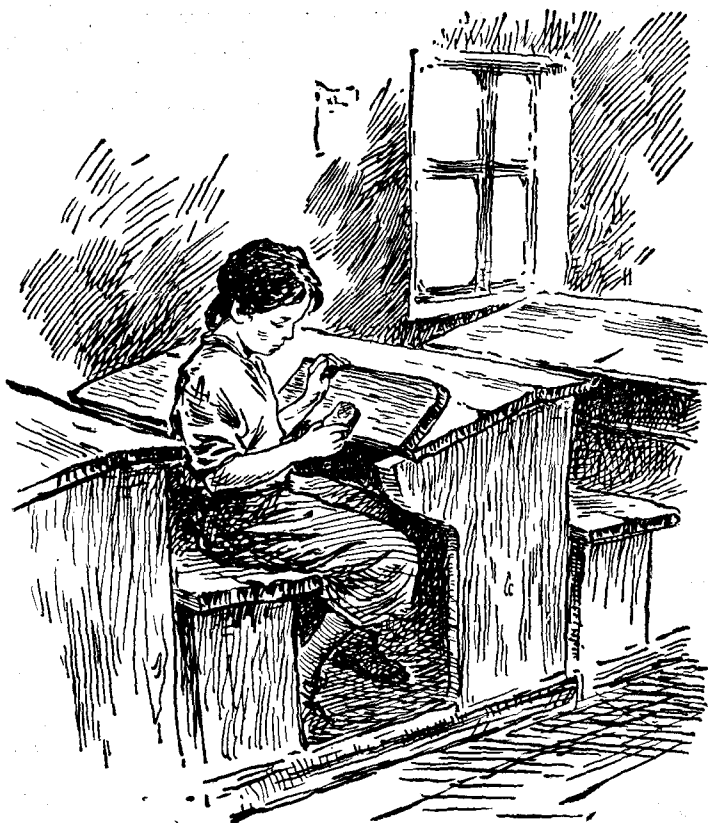
— Это все хорошо, однако вы человек беспокойный... Ищите себе работу где-нибудь в другом месте. Вы нам больше не нужны.

Учитель вынужден был искать работу в другом месте.

Волостной староста Пастушенко, полицейский урядник Швидков, волостной писарь Левшин, сельский староста Губань и почтальон Пупченко теперь окончательно убедились, что существуют еще способы для наказания непокорных...

1886 г.





## УКРАЛА

Как только учитель открыл дверь в класс, он тотчас заметил, что там творится что-то неладное: ученики и ученицы столпились возле одной парты и о чем-то горячо и громко спорили, раздавались недружелюбные и сердитые возгласы. Пока что ничего нельзя было понять. Одно было ясно, что дети кого-то ругали, кого-то корили.



Вдруг кто-то из учеников заметил учителя, и сразу в классе разнеслось:

— Василий Дмитриевич пришел... Учитель пришел. Дети умолкли, повернувшись лицом к учителю.

Учитель подошел к ним и спросил:

— Что здесь случилось?

Все молчали, стоя возле парты, на которой сидела Александра.

Первоклассница Александра была дочерью сельского писаришки-пьяницы. Она сидела, низко опустив голову, потупив глаза. Ее бледное, усеянное веснушками лицо было белое как мел. Она крепко держалась руками за парту, точно боялась, что ее насильно потащат куда-то.

Учитель еще раз спросил:

— Что здесь у вас произошло?

Отозвалась Приська, подруга и соученица Александры. Отец ее был приказчиком в имении. Приська была сытой, хорошо упитанной девочкой; она всегда приносила из дому хороший завтрак: пирожки, лепешки, коржики и прочее. Училась она плохо, но была очень веселой и всегда хохотала. Она и сейчас, улыбаясь, произнесла:

— Да Александра...

Приська начала говорить, но, расхохотавшись, оборвала свои слова.

Учитель спросил:

— Что — Александра?

— У меня хлеб украла! — наконец сказала Приська и еще больше захохотала. Ее неумные серовато-синие глаза от смеха почти утонули в полных щеках.

Это известие глубоко поразило учителя. До сих пор ничего подобного в школе не случалось. Учитель знал, что некоторые дети дома, до поступления в школу, были кое в чем грешны, но в школе никто из них не допускал такого греха. В отношении Александры у него не было никаких подозрений. Просто она была девочкой боязливой, наверное, пьяница отец испугал ее.

Учитель посмотрел на Александру и спросил:

— Александра, это правда?

Она молчала и сидела неподвижно, как каменная. Учитель понял, что Приська говорила правду.

А Приська теперь уже тараторила:

— Она не в первый раз крадет. Она несколько раз у меня таскала. Только бросишь сумку с пирогами — так и утащит. Да я все молчала. А это уже сегодня... Вижу, схватила хлеб и побежала из класса во двор да зашла за дерево и ест. Я подбежала к ней, а она испугалась. Не говори, просит, учителю, я тебе картинку дам...

Учитель еще раз спросил:

— Александра, это правда?

Но Александра продолжала молчать, сидя неподвижно. Один большой, не совсем умный и не очень сердечный ученик сказал:

— Да что там ее спрашивать? Разве и так не видно, что правда. Видишь, что надумала — красть! Ее нужно исключить из школы!

Ученики закричали:

— Исключить! Исключить!

Учитель сказал:

— Как же это так?

— А так, что она ворует, а мы или вы напрасно можем подумать на другого.

Другие говорили:

— Это теперь ничего нельзя будет и оставить в классе, если будут красть.

— А разве это хорошо, если про учеников будут говорить, что они воруют, — добавили некоторые.

Учитель сказал:

— Вот что, девочки и мальчики: вы уже собрались исключить Александру из школы, а сами еще толком ничего не знаете. А может, и не так все было? Нужно прежде всего послушать, что скажет Александра.

А старший ученик снова было начал:

— Да что там слушать, разве и так не ясно!..

Но его тут же оборвали:

— Замолчи! Василий Дмитриевич верно говорит. Все-таки нужно послушать, что она скажет.

Головы учеников повернулись в сторону Александры, их глаза были устремлены на нее. Все ждали, что она скажет. Но она и теперь сидела точно окаменевшая. Она втянула голову в плечи и съежилась, словно ждала, что ее вот-вот ударят, хотя и знала, что в школе не бьют детей.

Учитель спросил:

— Ну что же, Александра? Говори, мы ждем.

Молчит. Учитель снова:

— Не думай, что все мы настроены против тебя. Мы хотим только узнать правду. Может, и не так было, как говорят. Да я и думаю, что это не так.

Бледное лицо Александры сразу сделалось красным, как жар. Но она все еще молчала.

А учитель продолжал:

— Конечно, я думаю, что это не так. Мне кажется, что Прися ошиблась и что ты невиновна.

Лицо Александры склонилось еще ниже, оно почти касалось парты.

— Наверное, это ты свой хлеб ела, потому что я никогда не поверю, чтобы ты могла украсть.

Громкое горькое рыдание раздалось в классе. Это плакала Александра, склонив голову на парту. Ученики сразу притихли. Глаза у них как-то расширились, и они молча, затаив дыхание, смотрели на Александру.

А учитель говорил:

— Не плачь! Если это неправда...

— Правда! Правда! — воскликнула Александра. — Я украла!

И она зарыдала еще сильнее. В большой классной комнате молча, неподвижно стояли шестьдесят учеников, а перед ними, уткнувшись головой в парту, горько плакала маленькая белокурая девочка.

Она долго плакала, и все молчали до тех пор, пока она немного успокоилась.

Тогда учитель, присев возле нее, спросил:

— Зачем ты это сделала?

Она снова молчала насупившись. Учитель видел, что сказать, почему она это сделала, ей так же тяжело, как и тяжело было признаться в содеянном. Но она пересилила себя. Несколько раз Александра пыталась сказать, шевелила губами, но у нее не хватало сил.

Наконец она промолвила:

— Я хотела есть.

— Разве ты дома не ела?

— Не ела.

— Почему?

Она снова умолкла и совсем неожиданно опять зарыдала:

— У нас... у нас... нечего есть. Отец ничего... не приносит из волости... всё пропивают... Мы едим су... су... сухари уже вторую неделю.

И больше она ничего не могла сказать — ее душили слезы.

Давно уже надо было начинать занятия. Учитель нежно взял Александру за руку и, сказав ей несколько ласковых слов, повел в свою комнату, чтобы она там успокоилась. Когда он вернулся в класс, около десятка рук протянулось к нему, и в каждой руке была какая-нибудь еда.

— Натя! Дайте ей! Пускай поест!..

Учитель посмотрел на детей. Мальчики были смущены, а некоторые девочки плакали. Он собрал все, что дали дети, и понес Александре. Но она ничего не хотела есть и продолжала плакать. Он как мог успокаивал ее, потом пошел в класс и перед началом занятий велел ученикам пропеть молитву.

Когда запели молитву, он незаметно ввел в класс Александру.

\* \* \*

После этого случая Александра долго не осмеливалась смотреть в глаза учителю. Но ни он, ни ученики никогда не напоминали ей о том, что было. Да и не нужно было ей напоминать. С тех пор уже ничто не могло соблазнить ее. Девочки-подружки ее любят и часто дают ей что-нибудь поесть из того, что приносят из дому. Но она редко берет у них, хотя часто сидит на сухом хлебе. В этом году она сдаст последний экзамен и выйдет из школы умной и честной девушкой.

1891 г.





## ГРИЦЬ

Гриць выбежал из хаты веселый, радостный. Его отец только что вернулся из города и привез ему две конфеты и большой-пребольшой бублик, такой большой и толстый, что он, пожалуй, больше, чем голова Гриця. А впрочем, может быть, это ему только так показалось, что бублик такой большой, потому что мальчику не часто приходилось есть бублики, да и то маленькие.

А тем более теперь, в Петров пост, мало чем было полакомиться: хлеб да борщ и каша или просто хлеб и борщ каждый день. А тут бублик, да еще большой!

Гриць уже раскрыл рот и хотел было впиться своими белыми зубами в бублик, но остановился — ему захотелось продлить удовольствие, и он стал крутить бублик в руках, наслаждаясь его приятным запахом. Потом он подумал, что бублик будет еще вкуснее, если его есть с вишнями.

«Пойду в сад, нарву ягод!» — подумал Гриць и перескочил через перелаз<sup>1</sup> в сад.

Сад был небольшой, но густой. Узенькой полоской он протянулся к реке чуть ли не до самой кручи. Здесь росли яблони, сливы, вишни; вишен было больше всего. Ветви так и клонились вниз под тяжестью спелых красных ягод.

Гриць подскочил к вишне и хотел сорвать ягоды, но тут же остановился.

Под вишней стоял небольшой, такой же как и Гриць, лет десяти, мальчик, но низенький и приземистый. Это был Семен, сын соседки Матрены. Она была вдовой и жила по соседству с отцом Гриця, ее сад находился рядом с его садом. Хотя Гриць и Семен были соседями, но они не дружили. Гриць был разговорчивым, веселым, любил посмеяться; Семен был молчаливым и угрюмым. Гриць часто удивлялся, почему это и Семен и его мать всегда такие хмурые, и однажды спросил об этом у своей матери. А его мать часто ссорилась с Матреной то из-за свиней, то из-за кур, и она сказала:

— Потому хмурые, что очень злые.

Но отец возразил ей:

— Если бы они не были такими убогими, так, может быть, не были и такими злыми.

— Как это? — спросил Гриць.

— Так, — ответил отец. — Когда живешь недоедая каждый день да бьешься как рыба об лед, зарабатывая кусок хлеба, так не будешь весел.

Гриць не мог этого понять. Ему казалось, что если человек добрый, так, значит, он всегда добрый, а если злой, так злой. А отец Гриця был не бедным человеком,

---

<sup>1</sup> Перелаз — проход в заборе вместо калитки.

и поэтому Грицю не приходилось испытывать нужды. И Гриць, согласившись с матерью, подумал: «Нет, они злые».

И он не мог подружиться с Семеном: они не любили друг друга и никогда вместе не играли.

Гриць увидел, что Семен рвет ягоды, и остановился. Он подумал: «И почему это он у нас ягоды рвет? Ведь у них свой сад есть».

Семен услышал, что кто-то идет, оглянулся и увидел Гриця. Он страшно покраснел, а потом побледнел. Мальчики смотрели друг на друга и молчали. Наконец Семен поднял голову и посмотрел Грицю прямо в глаза. Взгляд у него был сердитый.

— Чего же ты? — промолвил, наконец, Семен. — Может, бить меня будешь за то, что я у вас ягоды рву?

Гриць подумал: «Вишь, какой злой!» — и сказал:

— А ты зачем полез в чужой вишенник? Разве у тебя нет своих ягод? Ведь у вас столько же ягод, как и у нас.

Семен взглянул на свой сад и сказал:

— Много! Не так-то уж и много... Мать не разрешает их есть, говорит: продам да хоть на юбку себе наберу да сапоги тебе пошью... А то, говорит, мы в таких лохмотьях ходим, что и люди...

Мальчик внезапно остановился и покраснел еще сильнее, чем прежде: ему стало стыдно, что он выболтал то, о чем мать говорила. И он рассердился на себя, что сказал, и на Гриця, что тот слышал. Он снова задорно поднял вверх голову и сказал:

— Не так уж много я съел твоих вишен. Не очень приставай! А то еще и сдачи дам так, что носом землю клевать будешь!

Гриць тоже разозлился и покраснел.

— Кто? Ты? — спросил.

— Я!

— Увидим! — ответил Гриць и приготовился к бою.

— Вот и увидим!

И Семен сжал кулаки. Потом он отступил к тыну и крикнул:

— Не трогай!

Он закричал очень громко. Мать Семена находилась в это время в саду и услышала крик своего сына. Мгновенно она оказалась возле тына. Лицо у нее было блед-

ное, измученное, но сейчас оно пылало от гнева. Она безумно любила своего сына и никому не разрешала обижать его.

— Ты чего пристаешь к Семену? — закричала она на Гриць.

— Я не пристаю к нему, — ответил Гриць. — Я его не трогал. А зачем он залез в наш сад?

Мать Семена еще пуще рассердилась, и ее запавшие глаза заискрились.

— Не тронь! — крикнула она. — Вишь, уже бить собрался! Попробуй только подступить к нему — я все волосы на твоей голове оборву!

А Семен уже перелез через тын в свой сад и, стоя возле матери, произнес:

— Он меня хотел побить.

— Я тебе покажу, как бить! Я тебе дам! — кричала мать Семена, показывая кулаки. — Убирайся отсюда поживее, пока цел!

Гриць хотел что-то сказать, но смолчал, повернулся и ушел. Он не любил скандалов и был незадиристым мальчиком. Молча он спрятался в вишнях и уже не слышал, что еще говорила Семенова мать. Он нарвал вишен полон брыль<sup>1</sup> и хотел сесть. Но потом передумал: «Пойду я лучше к реке — сяду над кручей и буду там есть. Буду есть и смотреть на реку — так интересно наблюдать, как вода течет. А потом выкупаюсь... Только одному плохо — скучно купаться. Вот если бы еще кто-нибудь был!..»

Семена звать он не хотел, да и плавать тот не умел. А что это за купанье без плаванья! Вот хорошо бы поплавать наперегонки или понырять — кто дальше вынырнет.

Гриць не спеша подошел к реке. Круча около двух саженей высотой круто обрывалась сверху и отвесно спускалась в воду. С этой кручи ребята, когда купались, прыгали вниз головой, плыли под водой и всплывали на поверхность далеко-далеко от берега. Здесь хорошо было прыгать — место глубокое: никто из мальчиков-сверстников не мог достать до дна; только взрослые парни доставали до него. Те из малышей, кто умел плавать, не

---

<sup>1</sup> Брыль — соломенная шляпа.



боялись прыгать с кручи в воду: выплывешь, как камышина.

Гриць остановился над кручей. В одной руке у него был бублик, во второй — брыль с вишнями. Он залюбовался волнами, которые быстро бежали одна за другой, поблескивая на солнце. Полюбовавшись немного, он взял бублик в рот, откусил кусочек и стал жевать.

А Семен все время наблюдал за ним.

Он стоял в своем саду возле матери и видел, как Гриць ел бублик. Семен был голоден, и ему очень захотелось попробовать бублика. Но просить что-нибудь у Гриця он никогда не осмеливался, а теперь, после ссоры, и тем паче. И он, глотая слюнки, с завистью смотрел, как Гриць раз и второй откусил кусок бублика. Вдруг в его голове промелькнула мысль: «А что, если незаметно подкрасться к Грицю сзади, да и отнять у него бублик?»

И недолго думая он тут же осторожно вышел из сада и стал приближаться к Грицю. Между садом и рекой была небольшая полянка.

Вот именно здесь-то, проходя через эту полянку, Семен и боялся, чтобы Гриць его не заметил. Но тот его не видел.

Мать Семена огляделась вокруг, но сына рядом не оказалось. Она посмотрела в сторону реки и увидела, как Семен, крадучись, подходил к Грицю. Сначала она хотела позвать сына, а потом подумала: «А ну, что же дальше будет? Пускай Семен ударит его сзади. Не бултыхнется ли он в реку?»

Но тут же она заметила, что Семен не собирался драться с Грицем. Он потихоньку подошел к Грицю сзади и хотел было выхватить у него бублик. Но Семен плохо нацелился и схватил не бублик, а за руку Гриця. Семена это привело в ярость. Как безумный, он со всей силы ударил Гриця кулаком по лицу, но сам при этом зашатался, не удержался, и его нога соскользнула с кручи. Он схватился за бурьян, но трава выскользнула у него из рук, и Семен с разгону шлепнулся в воду.

Страшный крик раздался позади Гриця. Он увидел мать Семена — она бежала к реке и кричала не своим голосом:

— Спасайте, кто в бога верует!

Семен вынырнул из воды. Он старался держаться на поверхности воды, но это было трудно: он не умел плавать.

Матрена подбежала к круче, но помочь сыну тоже ничем не могла. Она только рвала на себе волосы и кричала:

— Беда моя! Горюшко мое! Сыночек мой! Спасите!..

Все произошло так мгновенно, что Гриць сначала не сообразил, что к чему. После неожиданного удара Семена он почувствовал сильную боль в лице, и в его сердце закипела злоба против Семена. Но в то же мгновение он заметил, как Семен упал в реку и стал тонуть. Гриць чуть было не крикнул: «А что? Это тебе за то, чтобы не дрался!» Но тут же он понял все.

И бублик и брыль с вишнями полетели на землю. А сам Гриць, как был в одежде, так и бросился с кручи в воду. Он сразу же вынырнул и поплыл к Семену, который еще держался на воде. Семен барахтался недалеко, и Гриць доплыл к нему легко. Но лишь только он подплыл к Семену, тот так уцепился за его руку, что чуть было не утопил.

— Не тяни меня! Только держись покрепче! — крикнул Гриць.

Но Семен, сбезумев от страха, не выпускал руки Гриця. Тот, дернув, освободил свою руку и поплыл. Тогда Семен уцепился за сорочку Гриця.

Одежда была мокрая и у того и у другого. Гриць плыл с большим трудом. Волна относила его от берега. Несколько раз он хлебнул воды. Он уже выбивался из сил, а тут еще и Семен тащил его вниз. Ноги Гриця стали опускаться ко дну. Семен был тяжелый, точно камень. Гриць зажал рот: вода доходила ему уже до глаз. Но тут же он собрал все свои силы и сильнее заработал руками и ногами.

Это его и спасло. Через какую-нибудь минуту Гриць уже держался руками за камень, торчащий над кручей.

Что было дальше, Гриць не помнил. Он лишился чувств и не слышал, как сбежались люди на крик Матрены, как вытащили его и Семена. Он только тогда пришел в сознание, когда пролежал немного на траве. Раскрыв глаза, он увидел, что возле него стоит отец, еще какие-то люди и мать Семена.

— Слава богу! — произнес отец, а следом за ним и все остальные.

— Ну, хлопче, добрый из тебя казак выйдет, бойкий, моторный! — похвалил Гриця дядя Тарас.

Только теперь Гриць припомнил, что было: он вспомнил, что вытащил из реки Семена. В то же мгновение мать Семена подбежала к Грицю, схватила его на руки, прижала к груди, трижды поцеловала и сказала:

— Дай тебе, боже, всего... всего... за то... ты...

И она заплакала, а следом за ней заплакал весь мокрый и продрогший Семен.

В тот же день Гриць, вспоминая о том, как его целовала мать Семена, подумал про себя: «Нет, она не злая... Наверное, папа правду говорил — она потому такая сердитая, что бедная. И Семен поэтому такой сердитый, что бедный и голодный. И почему я, глупый, не отдал ему бублик?» — подумал Гриць и вспомнил о том, что до сих пор он еще не съел его.

Не скажу, поделился он в тот день бубликом с Семеном или нет, но определенно знаю, что с тех пор он и Семен жили дружно.

1890 г.





## КАВУНЫ<sup>1</sup>

I

То, о чем я хочу рассказать, происходило в небольшой бедной лачуге. Там сидела мать-вдова и ее сын Санько, мальчик лет семи.

Санько сидел на скамье и жалобно скулил:

— Ну, мама, ну дайте чего-нибудь вкусенького по-  
есть! Дайте! Мне хочется!..

---

<sup>1</sup> Кавуны — арбузы.

А мать отвечала ему:

— Так где ж я возьму и что я тебе дам? Вон ешь хлеб.

Но Саньку хлеба не хотелось.

— Что хлеб! Разве его угрызешь? У меня от него даже зубы болят, ведь он черствый. Вот если бы сальца!

— А если и черствого хлеба не будет? — спросила мать.

Сыну не понравился такой ответ матери.

— Не будет? Вы всегда говорите, что не будет! А что же мне делать, если я сала хочу?

Маленький Санько надул губы и сердито отвернулся от матери, глядя в угол. Там паук сновал туда и сюда, плетя свое замысловатое кружево. Заинтересовавшись пауком, Санько на какую-то минуту забыл о сала. Но он недолго увлекался пауком. Ему очень хотелось есть.

И Санько начал свою песенку снова:

— Сала хочу! А вы всё не даете!.. Вон Грицю мать всегда дает сало, да еще и какой большой кусок.

— Так они ж богатые люди, сынок!

— Ну и что ж, что богатые? А вы-то не даете.

Мать и рада была бы накормить сына чем-нибудь вкусным, но где взять? Ей надоело его ныть, и она сердито сказала:

— Говорю тебе, что нету! Хочешь есть — бери то, что есть, да и ешь, а не привередничай и не скули тут!

Санько умолк. Нахмурившись, он взял со стола кусок черствого хлеба и раза два откусил от него белыми зубами. Но он не лез в горло. Он положил кусок снова на стол и вышел из хаты. Постоял немного возле порога, подумал. Куда бы податься?..

А-а, придумал! Выбежал из сеней, пробежал через двор, перескочил в огород, а со своего огорода — в огород Стецка. Стецко — это товарищ его. А с огорода — во двор к нему. Сени в хате были открыты. Санько вошел туда.

Из хаты отозвалась тетя Матрена, мать Стецка:

— Кто там?

— Это я.

— Так кто же?

— Пускай Стецко выйдет.

— Зачем?

Но Стецко, услышав голос Санька, тотчас выскочил из хаты.

Мать было накричала на него:

— Куда это ты побежал? Подожди!

Но напрасно она кричала, Стецко и Санько уже успели убежать со двора.

На огороде Стецка, между плетями огурцов и кустами картошки, одиноко стояла старая груша. Под этой грушей ребята сели и стали разговаривать.

Белокурый Санько говорил чернявому Стецко:

— Знаешь что? Пойдем на бахчу к деду Кучме.

— А зачем?

Санько покачал головой:

— Вот какой чудной — зачем! Кавуны рвать.

Стецко задумался. Кавуны — это очень хорошая штука, а он их еще не пробовал в этом году. Но ведь бахчу сторожит старый дед Кучма. Сердитый дед! Если поймает, так картузы поснимает. А отец Стецка недавно купил ему новый картуз. Что, если снимет?

Санько стал уговаривать друга:

— Ну, чего думаешь? Да мы так пролезем, что Кучма и не заметит. А какие у него кавуница! Так свои брюха и выставили на солнце! Мы сорвем такой большой, что ну! Как жар, будет красным!

Большой кавун, красный, как жар, — очень заманчивая штука. Стецко быстро поднялся с земли и сказал:

— Ну так как же? Сейчас?

Санько и не собирался откладывать. Мать сала не дала, так хоть кавуном полакомиться можно будет.

— А конечно, сейчас. Пошли!

И друзья побежали.

## II

Бахча была большая и хорошая, а старый дед Кучма, «одставной» солдат, умел бдительно охранять хозяйское добро. Но если Санько его не боялся, так и Стецко был о страхе.

Мальчики уже вышли из небольшой роши, возле которой была бахча. Пока что они лежали под кустами и высматривали, не видно ли где-нибудь Кучмы.

— Он теперь, наверное, спит, — высказал предположение Санько, — пообедал и спит. Осторожно и тихонько поползем на четвереньках к кавунам, а потом катком, катком их, да и выкатим сюда.

Стецко был не такой смелый, как Санько, поэтому думал иначе.

— А если не спит, да притаился где-нибудь в бурьяне и смотрит на нас? Только мы к кавунам, а он к нам.

Но Санько заверил его:

— Да и чудной же ты! Ну что ему теперь делать в бурьяне? Сейчас полдень, душно — в такое время все старики на бахчах спят в куренях. Ну, лезем поскорее! Ты смотри, какие кавуны!

Кавуны и на самом деле были хорошие; их белые и рябые животы так и блестели против солнца. Стецко, подумав немного, тоже стал на коленки рядом с Санько. Тогда они, прижимаясь к земле, тихо поползли, шелестя плетями кавунов. Вначале тянулись длинные и толстые плети огромных тыков, которые полосой окружали всю бахчу. За ними начинались кавуны.

— Ну, рви! — зашептал Стецко, когда Санько пополз к ним.

— Подожди! Это маленькие, вон большие! — ответил Санько.

И он пополз дальше. Но Стецко схватил его за ногу:

— Не лезь дальше, увидит!.. Рви тут!

— Не увидит! Лезь! — шепотом командовал Санько, вырывая ногу из рук товарища.

Однако Стецко очень боялся и, чуть не плача, громко сказал:

— Я не хочу дальше! Я вернусь...

— Замолчи! Услышат, так и впрямь поймут! — пугал его Санько и снова смело пополз вперед.

Стецко уже не знал, что делать. Ползти дальше — страшно, но и возвращаться обратно без Санько тоже боялся. Он подумал немного и пополз дальше. Плети кавунов снова зашелестели.

«Фю-и-и... Фю-и!..» — резко пронеслось в воздухе над головами мальчиков.

Они сразу переглянулись. Оба были белыми как мел.

«Фю-и-и!.. Фю-и!..» — снова разрезал воздух какой-то резкий свист.

Санько догадался, что это может быть, и шепнул, тяжело дыша:

— Кобчик...

Над их головами в воздухе действительно летал хищный кобчик, громко и пронизывающе свистя.

Вот и кавуны. Санько сорвал самый большой кавун и покатил его к Стецку:

— Кати!

Потом второй.

— Хватит, Санько, хватит!

— Еще вот этот, большой!..

Сорвали еще и большой и тогда стали катить кавуны по бахче, возвращаясь ползком назад. Кавуны порой цеплялись за стебли, но все же катились. Через несколько минут мальчишки выползли из бахчи и спрятались в густой траве, росшей неподалеку от нее.

— Ну теперь порядок! Вот так кав... — начал было шепотом Санько и не договорил, слова оборвались у него на губах.

Мальчишки плотно прижались к земле и лежали затаив дыхание: недалеко от них слышались чьи-то шаги и разговор.

Грубый старческий голос тихо спрашивал:

— Вот тут, говоришь, видел?

А второй отвечал:

— Да здесь, недалеко от этой осины.

«Боже, они нас поймают!» — подумал Санько и, толкнув Стецка в бок, шепнул:

— Лежи как мертвый!

А Стецко и в самом деле будто совсем умирал: у него перехватило дыхание, сдавило горло, сердце забилось и замерло, словно остановилось, голова пылала. Он представил себе страшное лицо деда Кучмы и его солдатские усы. И ему показалось, что Кучма сейчас схватит его.

Он закричал как безумный, вскочил на ноги и побежал прочь.

Дед Кучма со своим товарищем уже было прошли место, где лежали мальчишки, как вдруг услышали позади себя крик. Они оглянулись и увидели бегущего Стецка. Они бросились за ним.

Стецко чувствовал, что они вот-вот схватят его. Руки



Кучмы почти касались его спины. Видя, что его настигают, он закричал что есть мочи:

— Это не я! Не я!.. Это он!..

— А-а, тут еще один есть! — воскликнул Кучма и оглянулся, а за ним и его товарищ.

Этим воспользовался Стецко и скрылся в роще. Товарищ Кучмы побежал за ним, но зацепился за куст. Стецко намного опередил его и успел проскочить через рощу. Теперь ему уже не страшно было, и он не спеша направился к дому.

А тем временем Кучма, предоставив своему товарищу догонять Стецка, бросился за Саньком. Он настиг мальчика и тут же своими толстыми большими руками схватил его за волосы и закричал:

— Так вы красть?! Вот я вам задам! Я вас проучу, как красть!

Санько стал вырываться из его рук.

— А, так ты удрать хочешь?! Нет, хлопче, не убежишь от меня! — прорычал над ним Кучма и еще сильнее дернул мальчика за волосы.

Санько заплакал.

— Ишь, теперь плакать! А красть умеешь? — И Кучма безжалостно стал дергать Санька за волосы и за уши.

Мальчик кричал, вырывался, но тщетно.

— Удрал! — сказал, возвратившись, помощник Кучмы.

— Жаль! Ну да леший с ним! Этого поймали, узнаем, чей и тот. Тогда к отцу его пойдем... Слышишь ты, бесенок, чей это пострел с тобой был?

Санько молчал.

— Или ты оглох? Чей это хлопец убежал?

Ответа не последовало. Кучма рассердился:

— Говори, чьи вы, а то крапивой отстегаю!

Все тело у Санька дрожало от боли и страха, на глазах стояли слезы, но губы его были крепко сжаты.

— Ты скажешь?

Санько немного раскрыл губы и произнес одно слово:

— Нет!

Кучма рассвирепел:

— Ишь, какой дьяволенок! А ну, Афанасий, бери его!..

Санько посмотрел на своих мучителей.

— Дедушка, голубчик, отпустите меня! Ей-богу, не буду, никогда не буду! Отпустите! — стал умолять Санько, заливаясь слезами.

Однако Кучма не смилостивился и ответил:

— «Не буду»? Нет, прежде скажи, чей это хлопец, а тогда уже и просись. А ты чей?

Отец у Стецка был очень сердитый. Если Кучма пойдет к нему, тот избьет сына кнутом. Нужно молчать.

— Чей ты? — допрашивал Кучма.

Санько подумал, что и этого не следует говорить, потому что Кучма пойдет тогда к его матери... Мать не будет бить Санька, но Кучма отругает ее. И он молчал.

— Ну и чертенок! — воскликнул Кучма, разозлившись. — А подай-ка лозу!

Две сильные руки повалили мальчика на землю. Гибкая лоза засвистела и врезалась в его тело. Как обожженный, Санько завертелся и закричал:

— Ой, дедушка, голубчик, отпустите!

— А скажешь, чьи вы?

Санько молчал. Лоза снова резанула его по телу.

— Скажешь?

Санько молчал. Еще два удара лозы — словно ножом режут!

— Дедушка, простите!

— Скажешь?

— Нет...

— А, так ты так?! Бей его! Бей сильнее!.. Скажешь?

Мальчика снова начали хлестать лозой. Санько вырывался, извивался от нестерпимой боли, но молчал.

Санько ничего не говорил, а старик все хлестал и хлестал его лозой.

— Скажешь?

Но Санько уже ничего не мог сказать: от боли он потерял сознание. А сторожа продолжали избивать мальчика, пока не заметили, что тот не двигается.

Тогда помощник Кучмы перепугался:

— Ты посмотри, чего он как мертвый лежит.

— А-а, сомлел, должно быть, — равнодушно ответил Кучма, но и сам перепугался. — Полежит, так очнется. Пошли, Афанасий!

Но Афанасий не ушел:

— Подожди, я его водой оболью.

Афанасию стало жаль мальчика. Он взял его на руки и понес к озерку, которое было тут, недалеко в роще. А Кучма пошел в курень.

Афанасий положил мальчика на траву и стал брызгать на него водой. Вода освежила Саньку, и он раскрыл глаза. Афанасию почему-то неловко стало смотреть мальчику в глаза, и он пошел следом за Кучмой, думая: «Теперь уж и сам встанет».

Санько и в самом деле поднялся, но не скоро — только под вечер вернулся он домой. Побитое тело нестерпимо болело.

Три дня пролежал он больным дома и только на четвертый вышел на улицу.

В тот же день он встретился со Стецком.

Увидев его, Стецко опустил голову.

Санько только и сказал:

— Эх, ты!..

Стецко насупился и побежал домой.

Но спустя некоторое время ребята снова помирились. Только Санько больше не доверял Стецку, как прежде.

1891 г.





## КСЕНИЯ

1

Далекие-далекие детские годы!

Тогда легче жилось, легче дышалось... Материнская ласка и любовь, забота отца — он был несколько суров, но добр, — детские забавы, радости и печали — все слилось воедино, переплелось, и детские годы проходят перед моими глазами словно любимая и радостная картина. На этой картине отчетливее всего вырисовывается

один любимый образ, такой любимый и дорогой, что, кажется, для меня дороже всего на свете, кроме только одного... Этот образ ты, Ксения, — ты, вечно дорогая и любимая моему сердцу. Прошли годы, ушли в прошлое радости и тяжкие муки, время многое стерло и вытеснило из моей души, многие образы совсем исчезли из моей памяти, но ты никогда не исчезнешь, никогда. Ты и теперь стоишь перед моими глазами, словно живая и такая же спокойная, такая же любимая...

Это произошло спустя два года после разлуки с моим первым другом — дядей Тимошей...

Но прежде я должен сказать несколько слов о себе, чтобы понятным было то, о чем я буду повествовать дальше.

Наша семья была зажиточной, и в селе все нас считали богачами. Но жили мы просто, не стремились стать господами, несмотря на то что к тому имелись некоторые основания — отец и двое старших братьев были грамотными людьми.

Я был самый младший у отца и матери, после двух сыновей и четырех дочерей, — поэтому и любили меня больше, чем других своих детей. Видя, что всюду стали создаваться школы, настало время учебы, отец часто говорил мне, что, когда я закончу нашу школу, он меня пошлет учиться в город. Не скрою, мне не совсем это нравилось, и казалось, что мать была права, когда говорила отцу:

— И что это ты, старик, вздумал: отдавать ребенка бог знает куда и бог знает к кому! Достаточно ему и здешней грамоты — ведь учится же он в школе!

— Нет, старуха, недостаточно, — отвечал отец. — Хватит уж нам быть дураками да покоряться умным мироедам. Пора и своим умом жить. Будет он учиться и здесь и там, чтобы мог прожить, не кланяясь в ноги каждому шкуродеру.

Мой отец был здравомыслящим человеком, отличавшимся от других наших крестьян, на все у него было собственное суждение. Он и мне определил путь...

Однако хотя у меня и не было большого желания ехать в город, но в сельской школе я учился неплохо.

Это было весной.

Тогда я первый год ходил в школу. Мы все, ученики, надеялись, что скоро нас распустят по домам, поскольку приближались экзамены. Я боялся экзамена, так как говорили, что на него приедет какой-то господин, но в то же время хотелось, чтобы экзамен наступил поскорее, ибо, по правде говоря, немного надоело сидеть в душном и тесном помещении, когда лес был наполнен пением птиц, когда луга украсились веселыми цветами, когда быстрые мотыльки размахивали в воздухе своими разноцветными крылышками, улетаая от мальчишек, гонящихся за ними. А мы ежедневно до поздней поры должны были сидеть в классе. Нет, уже хотелось на волю!..

Зато, когда кончались занятия и нас отпускали домой, нужно прямо сказать — я, да и многие мои товарищи не очень-то заботились об учебе, а изо всех сил старались наверстать потерянное в школе время.

Да, это было весной. Вернувшись со школы и бросив книги, я взял свой перочинный ножик и выбежал на улицу. Мне хотелось сделать себе игрушечный насос. Я побежал в сад и вмиг срезал ветку бузины. Потом, усевшись перед своим двором, я стал вырезать игрушечный насос. Я уже отрезал веточку и просверливал середину ее отверстия, как вдруг над самым моим ухом раздался голос:

— Какой хороший у тебя ножичек!

Я поднял голову. Передо мной стоял мой приятель, соседский мальчик Ивась.

— Ножичек хороший... Отец купил?

Я посмотрел на свой новенький блестящий ножик, а потом на Ивася и сказал:

— Ясно, отец!

— Продай мне! — сказал Ивась, и у него заблестели глаза.

— Никогда в жизни! — ответил я решительно.

— Я тебе золотый<sup>1</sup> дам. У меня есть: батюшка дали, когда я им в церкви кадило подавал.

<sup>1</sup> З л о т ы й — 15-копеечная монета.

— Зачем мне твой злотый! Отец сам заплатил за него семигривенный<sup>1</sup>.

Ивась насупился. Но спустя некоторое время он снова поднял голову:

— Ну дай мне хотя бы немного поиграть им: и я хочу наделать себе игрушечных насосиков...

Если бы Ивась попросил у меня ножик через неделю или две, я его отдал бы без колебания. Но теперь, только позавчера получив ножик, я никак не мог отважиться расстаться со своим богатством.

И я ответил:

— Нет, не дам!

Ивась обиделся:

— У, скупердяга, все бы себе заграбастал! Дай!

— Не дам!

И тут произошло совсем неожиданное происшествие. Поворачивая длинную ветку бузины, я как-то нечаянно задел по лицу Ивася. Он, будучи до этого сердит, теперь совсем вскипел:

— Чего дерешься? Хочешь, чтобы я сдачи дал?

И он толкнул меня в плечо. Нож, который был у меня в руке, от толчка не попал туда, куда нужно, и врезался прямо мне в руку. Я подскочил к Ивасю, бросив даже свой ножик. Но он уже удирал от меня. Я изо всех сил побежал за ним, стараясь догнать его. Мы долго бежали так: он — убегая от наказания, я — желая отомстить ему. Я уже настиг его, как вдруг почувствовал, что споткнулся о что-то и падаю.

### III

Но я не упал.

Я наскочил на кого-то и сбил с ног, но сам с трудом удержался. Придя в себя немного, я осмотрелся вокруг и увидел, что стою возле чьей-то хаты, а с земли поднимается небольшая, лет девяти, девочка. Я, наверное, сильно ушиб ее, потому что она, поднявшись и держась за бок, очень морщилась, но не плакала хотя на ее больших серых глазах блестели слезы. Когда я посмотрел на нее, вся моя злость на Ивася тотчас куда-то испарилась,

---

<sup>1</sup> Семигривенный — 20-копеечная монета.

словно ее и не было, и я молча, не зная, что сказать, стал рассматривать девочку. Она была одной из тех, которых называют «зачуханными», то есть заброшенными, без всякого присмотра... На ней была плохонькая, рваная юбочка и черная сорочка, а истощенное хорошенькое личико ее было белое, как белила.

Я понимал, что ударил девочку, причинил ей боль, но не знал, что сказать, хотя мне и жаль было ее. Наконец, я собрался с силами и произнес:

— Я больно ушиб тебя?

— Нет... так... — ответила она, но тут же немного поморщилась — наверное, бок у нее еще до сих пор болел.

— Нет, я знаю, что больно. Только ты на меня не сердись, — я нечаянно.

— Я не сержусь.

Мы постояли некоторое время молча. Я потом спросил:

— А как тебя звать?

— Ксения, — ответила она, глядя на меня своими большими глазами.

— А меня Васей зовут. Мы живем на Завлеевке.

— Я знаю: вы богачи. Батя завсегда так про вас говорят.

— А у тебя есть отец?

— Есть.

— А мама?

— Мамы нету... умерли. У меня мамой — мачеха.

— Не обижает ли она тебя?

Девочка ничего не ответила, только опустила вниз глаза.

— Так ты не сердись на меня за то, что я тебя ударил? — снова спросил я.

— Нет... Ой-ёй! Что это у тебя? — воскликнула она, схватив меня за руку.

Когда я падал, то еще сильнее ушиб свою порезанную руку, и кровь теперь так и текла с нее.

— Ой, что это у тебя? — спрашивала Ксения.

— Так... порезал...

Мне стыдно было говорить ей о своей ссоре с Ивасем.

— Сейчас же нужно завязать, а то болеть будет, — беспокоилась Ксения.



Но хотя у меня в то время и в самом деле сильно болела рука, но мне, мальчишке, стыдно было признаться в этом. И я ответил:

— Нет, ничего. Не болит. До свидания! Когда-нибудь приду к тебе поиграть.

И я сразу же побежал домой, чтобы избежать ее вопросов о ране и перевязать руку.

#### IV

Хотя я и говорил Ксене, что приду к ней играть, но почему-то не пришел. И встретились мы с ней не скоро, тогда, когда мы косили свое сено.

Моя младшая сестра не захотела ехать в поле, и мне одному пришлось поехать со взрослыми. Пока отец и братья косили поблизости, а сестры сгребали сено, я то сидел возле воза, который стоял тут же, в густых зарослях, на месте вырубки леса, то к ним бегал. А когда после обеда они ушли далеко в поле, меня оставили стеречь воз. Я остался один. Если бы я взял из дому книгу, так, может быть, читал бы — у меня есть такая интересная книга: сказки всякие, — но я забыл взять ее с собой, поэтому занялся вырезыванием из кустарника тоненьких прутиков; хотелось сплести из них маленькую коляску. Долго я возился, пока, наконец, кое-как сплел коляску и уже собирался еще чем-нибудь заняться, как вдруг услышал шелест возле кустов. Я посмотрел и увидел Ксению. Она шла, не замечая меня и, наверное, не ожидая здесь встретиться со мной. Вскоре она увидела меня и остановилась.

Я обрадовался и крикнул:

— И ты тут? Как ты сюда попала?

— Батя косят, а я им обедать приносила, — ответила она, стоя на одном месте.

— Да чего ты стоишь? Иди поближе ко мне и будем играть.

Она робко подошла и села рядом со мной.

— Вот смотри, какую коляску я смастерил! Сумеешь сплести такую? — похвастался я, показывая ей коляску.

— Нет, я никогда не плела колясок.

— А что же ты делаешь? Как ты играешь?

— Играю?.. Нет, не играю...

— Как — нет?  
— Мать не позволяют играть, говорят: работать нужно.

— А что же ты делаешь?

— Да нянчу ребенка, подметаю в хате, пасу корову... всё...

— А играть тебе не хочется?

— О нет, хочется, так хочется! — воскликнула она, и ее глазенки так и заблестели, но она тут же застеснялась и умолкла.

— Ну хорошо, так мы с тобой будем играть.

Понемногу Ксения осмелела, и мы играли так, как все. Мы ловили друг друга, прятались в кустах. Один раз я ее долго не мог найти, вдруг слышу, она кричит из-за куста:

— Вот смотри, Вася, что я нашла!

Она нашла кузнечика. Он был зеленый, а ноги как палки.

— Дай, Ксения, его сюда, я посмотрю.

Только она хотела дать мне кузнечика, а он — скок! — убежал в траву.

— Ах, зачем ты его выпустила? — говорю.

А она смеется:

— Я не выпускала, он сам убежал.

Мы стали искать его — не нашли. Смотрим, а в земле дырочка.

— Это здесь сверчок живет, — догадался я и стал тыкать палочкой в норку.

И в самом деле, сверчок: сердится, за палочку хватает. Чуть не вытащил его, даже головка показалась.

— Господин Сверчинский, идите сюда! Я буду пахать, а вы будете погонять!

Ксения смеется:

— Много вы напашете!

## V

— Вася, пойдем в лес по ягоды!

— Пойдем!

Пошли, начали искать ягоды. Я сколько сорву, столько и съем. Когда наелся ягод, спрашиваю у Ксени:

— А ты наелась?

А она засмеялась:

— Да я и не ела, а вот какой букетик нарвала... — И показывает мне букетик ягод. — Пора уже домой возвращаться, — говорит Ксения.

— Почему?

— Да мать будет ругать...

— Вот еще, ругать! Пошли дальше!

И мы пошли в глубь леса. Бегали, играли, одна игра опережала другую, и, хотя нам казалось, что мы недолго бегали, времени прошло много. Стало смеркаться. И только тогда заметили, что оказались в незнакомом месте.

— Василек, что же нам делать? — спросила Ксения.

— Нужно искать тропинку, — ответил я, — а то скоро стемнеет.

— Скоро? А тут есть... волки? — спросила Ксения, и от страха ее огромные глаза расширились еще больше, а белое лицо сделалось еще бледнее.

— Ну, волки еще! — ответил я, бодрясь, хотя и сам чувствовал себя не совсем спокойно. — Побежим лучше обратно. Ну!..

Мы бежали по кустарнику. Ветки били нас по лицам, царапали, мы искололи босые ноги.

Вскоре Ксения стала отставать от меня.

— Василек, подожди меня! Я боюсь...

Я остановился:

— Давай руку, побежим вместе.

Но бежать среди густых зарослей кустарника, взявшись за руки, было совсем невозможно. Мы пробежали еще немного, пока оба, споткнувшись о корни, не упали на землю.

Встали, смотрим вокруг, а тропинки нету. Мы здорово ушиблись, но никто из нас не заплакал: со страху мы уже не думали о боли. Потом пошли медленно, отыскивая дорогу. Видим, прошли просеку и подошли к старому лесу. Стало совсем темно, но луна еще не взошла, а вокруг нас стоял такой черный, страшный лес! Мы поняли, что пошли не в ту сторону.

— Василек, что теперь делать?

— Будем тут ночевать.

— В лесу? А волки?

— Ну, еще...

Я хотел было сказать: «Это ерунда», но не смог. Нам обоим хотелось плакать. Разные мысли роились в голове. А что, если и в самом деле волки нападут? Разорвут!

Ксения прижалась ко мне и уже начала плакать. Мне хотелось успокоить ее, но я не в силах был вымолвить даже слово.

Так прошло несколько минут.

## VI

Возле места, где мы стояли, рос большой дуб. Я догадался, что нам нужно делать.

— Ксения, залезем на этот дуб. Там не так страшно будет ночевать.

— Так я не влезу — он высокий.

— Ничего, я тебе помогу. Лезь сначала ты!

И я, сколько было у меня мальчишеской силы, стал подсаживать ее на дерево. К нашему счастью, первая ветка росла невысоко, и Ксения уцепилась за нее. Следом за ней лез и я. Но только взобрался на ветку, что-то как закричит так жалобно и громко, что по всему лесу эхо разнеслось. Я весь похолодел. Гляжу, из леса вылетела огромная сова. Что-то трепетало и пищало у нее в когтях. Она несколько раз бесшумно взмахнула своими мягкими крыльями и скрылась в темноте. Весь дрожа от страха, я полез выше и сел на ветке рядом с Ксенией. Слышу — она шепчет мне:

— Василек, что это такое?

— Ничего, это сова поймала птичку.

— Василек, страшно!..

Сидим молчим. Вокруг тишина. Я не знаю, долго ли мы так сидели, только видим — на небе, над просекой, что-то загорелось.

— Что это такое? — шепчет Ксения.

— Не знаю. Может, где-нибудь горит. Такое зарево бывает на небе от пожара.

Посидели еще немного — разгорается все сильнее и сильнее. Вот уже видно, как что-то круглое выплывает из-за верхушек леса. Больше, еще больше...

— Так это же луна! — обрадовавшись, говорю я Ксении. — Теперь нам не страшно.

— А разве что?

— Да светлее будет, а то видишь, какая темень.

Луна медленно выплыла из-за деревьев, красная, огненная. Потом она стала увеличиваться и поднялась вверх. Стало совсем светло: листья на кустах заблестели, как серебро; пробиваясь сквозь густые кроны деревьев, протянулись вниз и по земле яркие полосы мягкого света. Стало как будто веселее.

Слышим — что-то затрещало внизу. Затаив дыхание прислушиваемся. На лужайку выбежал зайчонок, прыгнул раз, второй и сел, насторожив уши. Шерсть на нем блестела при свете луны. Посидев немного и потянув носом, он, наверное, почувствовал какую-то опасность, подпрыгнул и скрылся в кустах.

— Ксения, о чем ты думаешь?

— Так...

— А я думаю о том, что нас, наверное, искать будут.

— Кто?

— Мой папа.

— Они не найдут нас — лес большой.

— Почему не найдут? Найдут!..

«А что, если и в самом деле не найдут?» — промелькнуло у меня в голове. Мне снова захотелось плакать. Но я не заплакал: страшно, да и стыдно было перед Ксенией.

Сидим молчим. Прошел час, второй...

Господи! Мы оба вздрогнули: треск, крик разнесся по всему лесу...

Что это? Волки? Может, медведь даже? Ой, страшно, страшно!.. Чувствую, Ксения уцепилась за меня, вся дрожит. А рев или зов становится еще громче, еще сильнее, что-то трещит, ломается. Ой! Это, наверное, леший...

— Ау!.. Вася-я-я!..

Что это? Кажется, меня зовут?

— Ва-ся!..

— Слышишь? Будто зовут, — шепчет Ксения.

Снова:

— Ва-ся!..

Так это же меня зовут, ей-ей, зовут! Еще немного подождал, послушал... Слышу совсем отчетливо голос

отца. Нашли, нашли! Мы так обрадовались, что чуть не упали с дерева.

Через несколько минут отец выводил нас обоих за руки из леса.

Ксения эту ночь провела у нас.

## VII

Хотя за ночное путешествие мачеха наказала Ксению, но с той поры мы не расставались с ней. Братья мои были намного старше меня, а с сестрами я и прежде не дружил — Ксения стала моим другом. Я даже перестал дружить со своими сверстниками и все время выглядывал, когда же она вырвется от своей мачехи. Только с одной Ксеньей я и был тогда счастлив.

Счастлив, да не совсем. Правда, мои отец и мать не ругали за то, что я дружу с девочкой, да еще бедной сиротой, но мачеха Ксени... та досаждала нам.

Отец Ксени был тряпкой: что ему жена говорила, то он и делал. Ксения одна осталась от его первой жены, а у мачехи было еще двое детей, и Ксения должна была нянчить их с утра до вечера. Один ребенок сам бегал, а второго она возила в коляске. Вывезет на улицу — я жду. Встретимся, начнем играть, и мы тогда были веселы и счастливы.

Но Ксене приходилось и страдать из-за наших забав. Началось это так.

Однажды мы так увлеклись игрой, что не заметили, как ребенок вывалился из коляски и стукнулся лбом о землю. Вечером мачеха заметила шишку на лбу у ребенка и стала бранить Ксению. На беду, к ним зашла соседка — она часто видела нас с Ксеньей на улице — и рассказала мачехе, что мы играем вдвоем.

— А, тебе бы только с мальчишками бегать!

Ругань и побои посыпались на мою Ксению.

С тех пор нам приходилось прятаться от всех и сидеть вдвоем где-нибудь в закоулочках, чтобы нас никто не видел, потому что всякий раз, как только об этом узнавала мачеха, — Ксения бывала бита.

Я сильно переживал и вскоре так возненавидел ее мачеху, что не мог вспоминать о ней без злости.

Однажды мы с Ксеньей сидели у нас во дворе. Ребен-

ка она не взяла с собой, потому что он спал, да и мачеха была дома, а Ксене как-то посчастливилось убежать ко мне. Мы довольно долго сидели и играли, забыв обо всем на свете, когда вдруг услышали над нашими головами возглас:

— Ах ты, паршивка! Так ты вот где?! Дитя кричит, а она тут разгуливает!

Мы оба вскочили на ноги. Перед нами стояла Ксенина мачеха.

— Ишь, играть вздумала! Вот я тебе покажу!

И она схватила Ксению за волосы и хотела тащить ее. Ксения не защищалась, а только закрыла личико руками.

— Иди, неряха!

Ксения вскрикнула — мачеха потащила ее.

Я уже больше не мог стерпеть. У меня помутилось в голове. Сам не понимая, что делаю, бросился на мачеху и ударил ее кулаком в грудь.

— Как вы смеете ее бить?! Как смеете?! — кричал я и продолжал бить нашего врага.

Вначале, наверное, мачеха испугалась от неожиданности, потому что не защищалась. Но через минуту она схватила меня за руку и, как перышко, бросила на землю:

— Ах ты, проклятый щенок! Ишь, каков! Вот с кем она дружит! Ну ты у меня запомнишь!..

И пока я лежал на земле, она вытащила Ксению со двора. На крик выбежал брат и задержал меня, так как я хотел бежать следом за ними.

Мачеха так побила Ксению, что она целую неделю лежала больной. Но не только мачеха была нашим врагом. Ребята заметили, что я дружу с девочкой, и стали нас дразнить. Мы долго терпели их издевательства, но однажды я не выдержал.

Было воскресенье, и мы с Ксеньей вышли на улицу к мальчишкам и девочкам. Играли в лапту. Я допустил какую-то ошибку.

— Ну, этот мне девчонкин хвост! — крикнул мой бывший дружок Ивась.

— А что, разве не так играю? — спросил я.

— «Что, что!» Из-за чесоточной Ксеньки играть разучился.

— Нет, она не чесоточная!— крикнул я.  
— Чесоточная!  
— Врешь! Ты не смеешь так говорить!  
— «Не смеешь»! Смотри, какая цаца его замурзанная Ксенька!  
— Замолчи!  
— Как бы не так! Так вот и буду молчать!.. Смотрите, ребята, какой парень — уже за девкой бегаёт, за чесоточной!

И он, попрыгивая на одной ноге, стал напевать:

— Эх ты, Василь, эх ты.  
Куда к тебе прийти?  
— За гумном, Ксения,  
Спрячемся в ячмене!

Мальчишки захохотали. Я бросился к Ивасю и схватил его за грудки:

— Замолчи, а то избыю!  
— Пока ты меня ударишь, так я тебя раньше!

И он ударил меня кулаком в переносицу. Кровь хлынула из носа.

Разъяренный, я набросился на Ивася. Он был сильнее меня, но в эту минуту силы мои увеличились в десять раз. Я свалил его на землю и стал бить по чему попало кулаками.

Нас с трудом развели. Мне и самому досталось как следует, но с тех пор больше никто уже не дразнил нас, когда мы были вдвоем, — они боялись. Но мы и не выходили больше на улицу.

## VIII

Прошел год.

Это было на третий день троицы. Наши уехали в Тарановку на ярмарку. Они хотели и меня взять, да я отказался: я знал, что отец и мачеха Ксени тоже собирались ехать на ярмарку и должны были забрать с собой обоих детей.

У нас с Ксеньей был впереди целый день. Такой праздник не часто бывал.

Мы долго играли у нас во дворе, до тех пор пока Ксения не сказала:



— А знаешь что, Василек?.. Пойдем в рощу к реке, там посидим.

Мы пошли. Идя туда, мы собирались там поиграть, но, когда пришли, сели над речкой и сидели молча... Река плещет, деревья в роще шелестят над нами своими зелеными листьями.

Чувствую, Ксения обняла меня, прижалась своей щекой к моей:

— Василек!

— Что?

— Ты меня любишь?

— Люблю, Ксения.

— А я тебя, Василек, так люблю, так люблю, что бы ты мне ни сказал — я все для тебя бы сделала!

— Всё?

— Всё! Что хочешь — всё!

— Ну, а если бы я сказал: прыгни в реку?

— И прыгнула бы, хоть и сейчас прыгнула бы.

И она еще крепче прижалась ко мне. Я поцеловал ее прямо в глаза и увидел, что она плачет.

— Ксения, милая, чего ты?

— Ох, Василек, так чего-то тяжело! Дома бьют да ругают. Вот поехали — хлеба не оставили...

— Как это так? Ты с утра еще ничего не ела?

— Ничего.

— Почему же ты мне не сказала?

— Да... зачем? Я и без хлеба проживу.

Но я уже не слушал ее и бежал домой. Через несколько минут я возвратился, притащив всякой еды для Ксени.

— Ксения, голубка, ешь!

Она стала есть, поливая хлеб слезами. Поела немного:

— Василек!

— Что, голубка?

— Знаешь... я думаю...

— Что?

— Я, наверное, скоро умру.

— Еще чего придумала! Что это тебе в голову взбрело? Чего это ты?

— Не знаю. Только мне так тяжело, так тяжело. Наверное, какая-то беда приключится со мной.

Я взглянул на нее — белая-белая как мел и такая болезненная!..

И в самом деле такое горе обрушилось, какого мы никогда и не ожидали; оно пришло на следующий день после ярмарки. Помню, я сидел дома на скамейке и что-то делал. Вдруг слышу — скрипнула дверь в сених. Открываю дверь в сени — Ксения, бледная, заплаканная, бросилась ко мне:

— Василек, голубчик! Забирают меня... отдают!

— Что? Кому отдают?

— Внаймы. Вчера отец на ярмарке наняли меня. Сегодня приехал забирать... этот человек...

— Куда забирать? Как это — забирать?

— Внаймы в чужое село. Ох, Василек, спрячь меня! Спрячь куда-нибудь, а то я умру или утоплюсь.

Она уцепилась за мой рукав, не отпускала от себя.

На ее крик вошел мой отец. Не успели они расспросить, чего мы плачем, слышим — бежит кто-то. Открылась дверь — ее мачеха.

Ксения закричала не своим голосом...

Отец оторвал меня от нее и вынес на руках в другую комнату.

Я слышал, как Ксения кричала...

Ее увезли, отдали...

И больше я ее не видел, никогда не видел! Мне сказали, что мачеха отдала ее в местечко на пять лет. Еще два года прожил я в родном селе и ничего о ней не слышал. Знал только, что она жива. Потом отец и в самом деле отвез меня в город учиться. Как я там жил и что делал, не следует здесь об этом рассказывать; пускай, может быть, в другой раз. Но когда вернулся я на некоторое время домой, то узнал, что Ксенин отец и мачеха со всей своей семьей переехали жить куда-то в другое село. Я расспрашивал о Ксене. Отвечали: не знаем.

Что с ней случилось? Зарабатывает ли она себе на кусок хлеба, скитаясь по чужим людям, в наймах? Или спит уже в могиле, и лето густо усыпает ее цветами, а зима покрывает холодным мертвым блестящим покрывалом? Не знаю, не знаю... Только больше я ее никогда не видел. Никогда!..

Пролетели молодые годы — годы юношеских мечтаний и надежд. В те годы я забыл на какое-то время

Ксеню. Но сейчас, когда неумолимая зима скоро засыплет снегом и мою одинокую голову, теперь, когда я одинок, не найдя себе подругу жизни, не полюбив после моей первой, самой чистой детской любви больше никого, когда прохожу, может быть, последние версты своего длинного пути, теперь все чаще и чаще я стал думать о тебе, Ксения, чаще и чаще стал появляться передо мной твой любимый облик... Он отчетливо стоит перед моей душой, ибо его не мог затмить, стереть никакой другой поздний образ... И ты навеки останешься в моем сердце, Ксения, ты моя любимая маленькая мученица!

1885 г.





## БЕЗ ХЛЕБА

I

На краю села стояла убогая хата, а в ней жил крестьянин с женой и ребенком; мальчик был еще крошкой — он недавно родился. Шел третий год, как молодые люди поженились — он взял ее из чужого села, — а они всё никак не могли сколотить свое хозяйство. Един-

ственно, что у них было, так это телка — купили ее прошлой весной, — да и та недавно пала. А если бы и не пала, все равно нечем было бы кормить. Каждый год все недород да недород, тут и самим есть нечего — не то что телке. Поплакала Горпина за телкой. Да разве слезами горю пособишь?

Весной у них совсем не стало хлеба. Недели три жили тем, что занимали у соседей, а теперь уже кто его знает, как дальше жить, — никто больше не одалживает, каждый говорит:

— Что я тебе займу? У меня самого, может, дети голодные сидят, а тебе все дай и дай, а отдачи не жди! Ты вон всему селу должен. Тут сам, может, за мешок хлеба не знаю что отдал бы!..

Жена посоветовала Петру поговорить с помещиком — может, возьмет на работу. Пошел Петр в соседний хутор — не взяли; и так, говорят, много батраков. Пошел ко второму помещику, а тот посмотрел, что у Петра одежка — заплата на заплате, подумал, что проходимец какой-то, — не стал даже и разговаривать с ним.

— Уходи! — говорит. — Тут вас много таких шляется!

Петр уже не знал, что дальше ему делать. Те, у кого была лошадь, так они хоть нанимались возить господские дрова из лесу, у него и клячи не было.

Однажды Горпина встала на рассвете. Ребенок еще спал. Молодуха стала потихоньку готовить к топке печь, а Петра послала нарубить дров. Возится она у печи, а сама и думает: «Если бы хоть эту неделю как-нибудь перебиться, а там, может быть, господь поможет, поехала бы я к отцу в Сыроватку: может, они хотя бы с мешочек муки дали. Беда без лошади: так бы села и поехала, а тут когда-то выпросишь у кума коня!»

Отворилась дверь. Петр принес дрова и бросил их на пол.

— Да не греми ты, дитя разбудишь! — сказала Горпина.

Разожгла Горпина печь, поставила горшки. Потом подошла к кадке с мукой, посмотрела:

— Петр, а Петр!

— А?

— А что мы теперь будем делать?

— Как — что?

— Муки осталось только на один раз, да и то буханки на две.

Петр помолчал немного, а потом и говорит:

— Что же делать? Я уж и сам не знаю.

— Разве еще у кого-нибудь попросить?

— Да у кого же ты попросишь, когда мы так всем задолжали, что больше никто не дает?

Горпина и сама хорошо это знала. Воцарилось молчание. В люльке проснулся ребенок, мать взяла его на руки, стала кормить. Голодное дитя схватило грудь и тут же бросило ее: молока не было. Ребенок еще громче заплакал.

А Горпина и говорит:

— Хотя бы одни были, без ребенка, а то смотришь на него, как он мучится; сама голодная, и дитя каждый день голодное, потому что молока нету.

Детский плач словно ножом по сердцу резал Петра. Да разве жалостью горю поможешь?

— Знаешь что, Петр? Пойди попроси у старосты — может, он даст из гамазея<sup>1</sup>.

Петр молчит, а ребенок все плачет, точно ножом сердце полосует.

Поднялся Петр и говорит:

— Пожалуй, пойду. Не подыхать же нам с голоду!

Взял шапку, постоял еще немного молча, подумал и так же молча вышел. Он знал, что староста сам не может дать, а все-таки пошел, чтобы хоть не слышать, как дитя плачет.

«А может, и даст? — подумал. — Кто его знает?.. Нужно попросить его хорошенько. Жаль, что на четвертинку ратушным не могу дать».

Пришел Петр в ратушу<sup>2</sup>, вошел в комнату, перекрестился.

— Здравствуйте, со средой вас! — сказал он и стал у порога.

Староста сидел в углу за столом, а писарь вынимал из шкафа бумаги, раскладывал их на столе. В ратуше больше никого не было, только Петр да их двое. Петр переминается с ноги на ногу, хочет заговорить, но не мо-

<sup>1</sup> Г а м а з е я — склад общественного зерна.

<sup>2</sup> Р а т у ш а — волостное управление. Р а т у ш н ы е — служащие волостного управления.

жет. Думает: «А если скажет — нет, не дам?» И как подумает об этом да о том, что тогда жена и ребенок голодными будут, так дух ему и забьет, и он не может сказать ни слова, только стоит молча у порога да рваную шапку в руках мнет.

Староста увидел, что Петру что-то нужно, а он никак не осмелится сказать, стал сам спрашивать его:

— Что скажешь, Петр?

Петр подошел поближе, поклонился.

— К вашей милости, — говорит.

— Ну?

— Не гневайтесь на меня, пришел вот к вам... Уже третий день почти не евши сидим. Сегодня еще и крошки во рту не было и муки нету...

— Ну так что?

— Не гневайтесь. Я уже везде просил, так кто же займет, если у самих, может, нету. Так я вот это... не разрешили бы вы хотя мешочек выдать из гамазея?

Посмотрел на него староста и засмеялся:

— Э, хлопче! Этого мы не можем сделать по собственному усмотрению, нужно разрешение начальства.

— От земской управы, понимаешь? — говорит писарь.

— Оно, конечно, так, — говорит Петр. — Да нельзя бы там как-нибудь, хоть немного?..

— И странный же ты какой человек! Ты ведь слышишь, что нет, никак нельзя!

Постоял Петр, помолчал, да и говорит:

— Да, может быть, оно и так, без управы? Хоть немного...

— Тебе ведь говорят, что нельзя! Ты оглох, что ли?! — раздраженно сказал писарь.

А Петр продолжает стоять, не уходит. Он и сам не понимал, чего еще ждал. Только как же идти с пустыми руками? Дома уже и картошки, того и гляди, скоро не будет... Разве еще раз попросить?

— Да я скоро отдал бы. Вот только бы заработал и отдал бы...

Писарь совсем вышел из себя:

— Да говорят же тебе, что нельзя! Что тебе, сто раз нужно повторять? Хоть ты ему кол на голове теши, а он свое — дай и дай! Ну и люди!..

И Петр ушел из ратуши.

Горпина убаюкала ребенка, положила его в колыбель, спекла из последней муки две лепешки, сварила борщ и картошку. Готовит обед, а сама думает: «Сегодня кое-как перебьемся, да и завтра... А если Петру дадут, так, может быть, и к отцу не нужно будет ехать. Нет, хотя и дадут, так сеять будет нечем — ехать все-таки придется».

Молодуха вытащила из печки лепешки, подмела хату и села пряхть. В этом году своей пряжи у нее не было — негде было посеять, так она брала пряхть чужое, от связки льна. Все-таки за неделю заработает каких-нибудь две сороковки<sup>1</sup>, а то и копу<sup>2</sup>.

«За неделю зарабатываешь копу, а рубль на еду потратишь», — думает Горпина, суча нитку.

Вдруг она услышала, как скрипнули сенные двери.

«Наверное, Петр, — подумала молодуха. — Принес ли он хоть что-нибудь?»

Действительно, пришел Петр. Вошел и молча сел на скамью. Посмотрела Горпина на него и сразу поняла, что он напрасно ходил.

— Петр, — спрашивает она, — ничего не дали?

— Говорят, что без земских господ нельзя, — мрачно ответил Петр.

И оба умолкли. Петр, потупившись, сидит печальный-печальный. А Горпина склонила голову на прялку и тоже сидела неподвижно. Петр взглянул на нее — такая она измученная, совсем осунулась. Жаль ему стало ее. Подошел к ней, обнял и говорит:

— Успокойся, голубка моя, успокойся! Не горюй...

Посмотрела Горпина на него, а у самой слезы на глазах.

— Мы-то перетерпим, — говорит, — а как ребенок? Каково ему, бедненькому, терпеть?

И Горпина тихонько заплакала. Потом снова промолвила:

— Наверное, такая уж у нас судьба. Если бог поможет, то и перетерпим.

<sup>1</sup> Сороковка — сорок снопов.

<sup>2</sup> Копя — шестьдесят снопов.



Петр хотел успокоить жену, а у самого на сердце становилось все тяжелее и тяжелее. А когда она сказала, что надо терпеть, он не выдержал.

— Да до каких же пор терпеть? — воскликнул он. — Уже и так, кажется, дня не проходит, чтобы мы не терпели!

— Это, наверное, так бог велел! — сказала Горпина.

Петр нахмурился:

— Да разве мы такие уж грешники, разве нет людей более грешных, чем мы, что нам приходится так страдать?

Горпина ничего не ответила. Умолк, насупившись, и Петр.

Он молчит, а мысли так и роятся у него в голове: «Разве это справедливо? За что мы должны помирать с голоду? Староста нам не дал, а сам разве не берет оттуда? В прошлом году украл четверть ячменя... Они будут красть наше добро, а ты помирай с голоду, и дитя твое пусть помирает!»

Такая ярость охватила Петра, такая злость на старосту зародилась в его сердце, что не выразишь словами. «Он живет в достатках, — думает Петр, — да еще и ворует, а я сижу голодный! Так что же мне делать?» У него так накипело в душе, что он готов был растерзать старосту. Вскочил мрачный Петр с места и вышел из хаты. Бродит по двору, а в голове назойливо сверлит мысль: «Не умирать же с голоду! Ведь и мое добро там есть, я тоже ссыпал туда, а теперь, когда у меня есть нечего, так дать не могут! Ну, так я не стану у вас просить! Я и без вашего разрешения возьму!»

И сколько он ни думал, все время приходил к одному: «Возьму! Не чужое ведь буду брать, а свое! Если не дают сами, придется украдкой взять».

И он постепенно так привык к этой мысли, что она его совсем не пугала. Вначале ему казалось даже страшно, когда он думал об этом, а теперь ничего — привык к этой мысли. И после того, как он сжился с этой мыслью и совсем перестал бояться, он решил сделать так, как надумал. «Пойду просверлю дыру в гамазее, да и насыплю зерна!» — думает Петр.

Только как сказать Горпине? Он хорошо знал, что она никогда не согласится на это! Как бы он ее ни угова-

ривал, она на это не пойдет. А что же ему остается делать? Он не видел никакого другого выхода из своего бедственного положения. Соседи не хотят помочь ему. Вон староста сам ворует, а ему не дал взаймы. Всюду несправедливость! И теперь он не считал грехом украсть. Но все-таки боялся сказать об этом Горпине, ибо чувствовал, что так поступать нечестно.

А Горпина стала замечать, что с Петром творится что-то неладное. Все время ходит мрачный и печальный. Станет она его расспрашивать, молчит или: «Да так... Что-то голова болит». Иногда же посмотрит на нее угрюмо и ответит: «А чего же мне веселым быть?»

Видела жена, что ее муж что-то задумал, а как предотвратить беду, не знала, только печалилась еще больше.

А за это время весь хлеб съели, картошку тоже, в доме больше ничего не было. Горпине так и не удалось поехать к отцу — лошади никто не дал, а пешком не так легко пройти сорок верст до Сыроватки, да еще и с маленьким ребенком. А оставить его дома нельзя: и так чуть живой от капли молока матери, а если его оставить дома, тогда и неизвестно, что с ним будет.

Петр видит все это и снова говорит себе: «Возьму! Не подыхать же мне, как собаке! Пусть Горпина что угодно говорит».

Однажды ночью он лежал вместе с женой на полатах и никак не мог уснуть, тревожные мысли не давали ему покоя. Вот он и думает: «А что, если я скажу сейчас Горпине?»

Но он ей не сказал, только еще чаще стал поворачиваться с бока на бок.

— Что с тобой, Петр?

— Ничего, — отвечает.

Горпина стала уже дремать, когда слышит — Петр окликает ее:

— Горпина!

— А?

— Знаешь что?..

— Ну?

И Петр замолчал: снова побоялся сказать жене.

— Да я так... Хотел спросить: есть у нас в хате вода? Пить хочется.

— Да в кадке же...

Петр поднялся, будто воду пошел пить, а в голове у него вертится назойливая мысль: «Сказать? Так ведь от нее не утаишься — то ли сейчас, то ли потом, а сказать придется».

Пришел, снова лег рядом с женой, накрылся:

— Горпина, как же мы дальше жить будем?

Жена молчит: она уже все передумала, но ничего так и не придумала.

Тогда Петр снова начал, заикаясь:

— А я... я... знаешь что думаю?

— Что?

И он снова умолк, а потом сразу заговорил так быстро, словно спешил куда-то:

— Не умирать же нам с голоду! Им ничего — вон хоть и староста: сам общественные деньги ворует, а нам куска хлеба не дает. Разве там нашего хлеба нету? Пускай! Нянчиться с ними, что ли? Разве они понимают? Взять да и набрать с гамазея!..

— Господь с тобой, Петр, что ты говоришь?

Петр даже рассердился.

— А что же, с голоду умирать? — говорит он.

— Грех, Петр! На то божья воля! Так бог велит... А чужого не тронь!

— Грех? А умирать голодной смертью — как? Разве я по собственной воле иду?

— Так что же, Петр, перетерпеть нужно. Не ходи!.. — И Горпину охватил страх. Она обняла мужа. — Петр, выбрось это из головы! Бог поможет... Пойдешь к отцу, они помогут. А о том забудь думать, совсем забудь! Грех!..

Прежде Петр колебался, а сейчас, когда Горпина стала уговаривать его, снова злость на людей закипела в нем, так и клокочет в груди.

— Пойду! — говорит. — Не хочу ничего слушать — пойду!

### III

Прошел день, наступила ночь. Дождлся Петр полуночи, оделся, взял с собой три мешка, сверло и пошел к гамазею.

Ночь была темная. Петр прошел через свой огород, вышел на выгон. На душе у него было совсем спокойно.

Раз уж решил пойти на это, он не думал о том, что потом будет. «Пойду и украду», — думал он и не считал, что поступает плохо, просто не думал об этом. Петр шел спокойно, смело, не ощущая никакого страха.

Он прошел выгон. Вдали что-то зачернело. «Гамазея, — подумал Петр. — В сторожке гамазея уже погас огонь. Наберу полных три мешка».

Осторожно пошел он дальше. Вот уже недалеко. Только что это? Громко и звонко пронесся в воздухе крик. Наверное, филин. Снова кричит, «нявкает» — нет, это сова. И сразу Петру стало страшно. Что-то ему перехватило дыхание, сильно забилося сердце. Он остановился, стал прислушиваться. У него по спине даже мороз по коже пошел. «Поймают, поймают! Вор!..»

И снова его будто снегом обдало. До этого он смело шел и был совсем спокоен, а сейчас вдруг вся храбрость исчезла. Он весь дрожал. «Идти или не идти? — думал он. — А если поймают?»

Он снова стал прислушиваться. Но вокруг стояла такая тишина, что Петр ясно слышал, как у него бьется сердце. «Может быть, вернуться?.. А завтра снова будем сидеть без хлеба! Нет уж, пойду!»

И он украдкой стал пробираться к хлебным амбарам; подошел и еще раз огляделся вокруг. В темноте ничего не было видно. Тогда он полез под помещение амбара. Он каждый год засыпал зерно в закрома и знал, с какой стороны они находятся. Осторожно он подлез к этому месту и лег на спину. Потом вставил в доску сверло и стал сверлить. Сухое дерево немного затрещало. Петр остановился прислушиваясь. Потом снова взялся за дело. Сверло все глубже и глубже входило в дерево — скоро уже и дыра будет. Лежа на спине, Петр со всей силы нажал на сверло.

— Эй, Семен! Эй, сто чертей тебе в печенку!..

Петр вздрогнул. Кто это? Сторож? Сердце забилося в груди, а потом будто замерло. Петр прислушался. Холодный пот выступил у него на лбу. Он так и окаменел, подняв вверх руки со сверлом. Снова раздалось:

— Семен, Семен!.. А, чтоб тебе! Да я и сам. Разве мне что? Думаешь, не смогу запеть? Сто чертей! Эй!..

Ой там за леском  
Плясала шука с судаком...

Пьяная песня раздавалась почти возле хлебных амбаров:

Э-эй, плясала щука с судаком.  
А петрушка...

— Тьфу, чтоб ты пропал!.. Чего сюда? Нет, я сюда не хочу, домой пойду!

Эй, а петрушка с чесноком,  
А девушка с козаком.

Пьяный ушел. Голос и шаги затихли. Петр не шевелился. Он затаил дыхание и ждал. Вот уже и ничего не слышно. Он еще прислушался. Нет, нет, никого. Тогда приложил последнее усилие и просверлил дыру. Нащупал мешок, подставил его, вытащил сверло. Зерно посыпалось.

Трясаясь как в лихорадке, Петр наполнил все три мешка. Хлебные амбары стояли на невысоком фундаменте, поэтому нельзя было насыпать полные мешки. Однако что теперь делать? Оставить дыру незакрытой — зерно высыплется на землю, завтра найдут. Нужно заткнуть. И как это он не взял пробки? Петро зажал одной рукой дыру, а второй стал искать траву, чтобы закрыть отверстие. Трава не росла под складами. Он вспомнил, что у него есть платочек. Нашел его, кое-как закрыл отверстие. Тогда один мешок вытащил из-под амбара, остановился и задумался: «Нести домой? Нет, это заберет много времени. Перенесу на курган, пока что пусть полежит там».

Курган находился за селом, на том выгоне, где когда-то проходила граница, а теперь лишь высокий вал остался. Торопясь, Петр отнес один мешок. Остальных два мешка были поменьше, он взял их оба сразу. Все три мешка он спрятал на кургане в траве. Хотел было уже идти домой, да вспомнил о дыре в полу склада. Нужно достать пробку получше, а то как бы платочек не выпал. Он тихо подошел к чьему-то тыну, отломил палку и пошел к хлебным амбарам. Снова подлез под них, осторожно вытащил платочек и закрыл дыру деревянной пробкой. Палка как раз подошла и плотно сидела в отверстии. Петр еще раз попробовал, хорошо ли держится

она. Наверное, немного зерна на землю высыпалось. Он ошупью засыпал его землей.

Вернулся домой, вошел в хату.

— Горпина!

Ничего не слышно. Очевидно, спит. Лег он на пол, не разувааясь, только свитку сбросил.

— Горпина, ты спишь?

— Ну?

— Я спрятал на кургане...

— Мне все равно, прячь куда хочешь, я тебе в этом деле не помощник!

Петр замолчал.

#### IV

Никому даже в голову не могло прийти, что можно украсть хлеб из закрытого амбара. Да и покража была небольшая, совсем незаметная. Когда Петр убедился, что о покраже ничего не знают, не говорят, перенес рожь домой. Но и ее ненадолго хватило. Хоть снова воровать иди. Но вскоре Петру немного повезло. Он упросил соседнего помещика взять его на работу. С утра до позднего вечера работал у помещика и только ночевать домой приходил. Дома по-прежнему была нищета, но и за то благодарил бога, что хоть голодными не сидели. А о краже до сих пор ничего не было слышно. Петр успокоился.

Впрочем, нет, не успокоился. Он уже давно потерял покой, лишился его еще в ту темную ночь, когда лежал под хлебным амбаром. И не кража мучила его. Нет! О ней он сейчас и не думал. Вот Горпину словно подменили. Теперь не было у них душевных и искренних разговоров. Бывает, что за весь день словом не обмолвится с мужем — ходит грустная-грустная. Потом Петр стал ходить на работу и только по вечерам виделся с женой, но все равно ничего не изменилось. Она продолжала отмалчиваться. То, бывало, Петр каждую ночь приходил домой, а потом стал приходиться два или три раза в неделю, ибо знал, что дома его не приласкают, не поговорят с ним, там еще тяжелее на сердце становится. Он не упрекал жену: его и самого мучила совесть, когда он вспоминал о том деле. Днем, за напряженной работой, ему не так тяжело было — забывалось; а по ночам.

когда он ночевал дома или у хозяина, не было ему покоя. Не спал, потому что погибло его счастье, может быть, навеки погибло. А ведь счастье было у него когда-то, даже тогда, когда их голод мучил. А нынче все исчезло. Только в груди жжет, так жжет!.. «Хотя бы наказала как-нибудь, но не мучила. Хотя бы отругала меня или упрекнула, а то молчит, ничего не говорит, и как былинка сохнет».

Это было в воскресенье вечером. Петр сидел за столом, а Горпина на полу убаюкивала ребенка. Каганец понемногу мелькал, и при таком освещении жена казалась еще больше измученной, чем днем. Лицо поблекло, глаза запали, и, когда она поднимала их от колыбели, невыразимое мучение светилось в них. Жалость сжала сердце Петра. Он поднялся, подошел к жене и сел рядом с ней:

— Горпина!

Она молча глядела на него своими печальными глазами.

— Горпина, до каких пор мы будем так мучиться?

У него сорвался голос: словно клещами сдавило горло. А она все молчит.

Петр с трудом пересилил себя и начал опять:

— Мы оба гибнем. Вся душа измучилась!.. Скажи мне, о чем ты думаешь, скажи! Ведь так жить больше нельзя!

Она снова посмотрела на него своими запавшими глазами и тихо опустила их вниз. И Петру показалось, что ее взгляд пронзил его в самое сердце, словно ножом ударил по нему.

— А что я тебе могу сказать? — начала она тихо. — Ведь ты и сам знаешь. Я говорила — не делай так... Если я не могу совладать с собой... Я любила тебя, а ты стал вором.

— Пускай будет и так, — говорит Петр, — но ведь тебе известно, что я не потому это сделал, что... Тебе же известно, что другого выхода не было!

— Я понимаю, — тихо ответила Горпина. — Все это мне известно. Но что делать, если я не могу примириться с этим. Лучше бы я умерла голодной смертью, чем так случилось! — И ее голова все ниже и ниже склонялась над колыбелью ребенка. — Какая теперь может

быть жизнь? Не жизнь, а мучение... Разве я об этом мечтала?

И она тяжело зарыдала, прислонившись к колыбели и ударяясь головой о ее угол. Перепуганный ребенок проснулся и тоже заплакал. Но Горпина словно и не слыхала плача ребенка. Долго она прятала свои переживания, и вот теперь они вырвались наружу вместе со слезами. Только не успокоили ее эти слезы, не сняли тяжелого камня с ее души.

Еще большая скорбь охватила Петра. За последнюю неделю он так извелся, что его трудно было узнать. Мысль за мыслью пронеслись в голове Петра — всё черные, страшные мысли. Однажды ночью у него мелькнула мысль: признаться. Посадят в острог. Там придется сидеть вместе с ворами, с разбойниками... А разве он не вор? Ну и пусть закуют его в кандалы, уведут... А сын? А Горпина? Что тогда будет с сыном?

«Что? А теперь разве лучше? Теперь мне жена не жена и ребенок будто не мой. Хуже не будет, так, может быть, Горпине легче станет, когда не будет видеть меня».

И, чем он больше думал об этом, тем больше ему хотелось сознаться во всем и закричать: «Это я украл!»

И у него голова шла кругом. Он ходил совсем как помешанный, и его запавшие глаза иногда так страшно блестели, что Горпина порой боялась его.

И вот пришло время — он принял решение. Это было в воскресенье. Петр уже отработал свой срок у помещика и жил дома. Он поднялся рано и молча стал наводить порядок в своем хозяйстве. «Разве сказать ей? — подумал он. — Нет, как-то страшно. Пускай сама узнает, когда уже все будет сделано».

И он все время возился во дворе, не входил в хату, потому что ему тяжело было встречаться с женой. С трудом он дотянул так до обеда. После обеда оделся, посмотрел на Горпину и снова подумал: «Сказать?..» Она молча возилась возле печки и не смотрела на него. Он отвернулся от нее, перекрестился и вышел из хаты.

Горпина была удивлена тем, что Петр, уходя, помолится. Но она не остановила его: ей тяжело было разго-



варивать с ним. Она и теперь любила его, и тем тяжелее было у нее на сердце, когда она вспоминала, что муж у нее вор.

Петр медленно шел к волостному управлению. На встречу ему шли односельчане, а он, занятый своими мыслями, не замечал их. Он чувствовал себя как-то необыкновенно спокойно. Точно такое странное спокойствие, как тогда, когда он шел воровать.

Но, когда возле волостного управления он увидел сходку крестьян, у него сильно забилося сердце. Что он скажет обществу? Разве подождать, куда разойдутся крестьяне, а потом сказать одному старосте об этом?

Размышляя так, он приближался к крестьянам. Он даже сам не помнит, как протиснулся среди людей до самого крыльца. На крыльце стоял писарь и что-то читал. Петр стал ждать. Он слышал громкий голос писаря, но понять ничего не мог. Да он и не старался прислушиваться. У него пылала голова.

Что это? Сход зашумел, а писарь закончил читать. Уже пора.

Он снял шапку и начал:

— Люди добрые!..

Крестьяне немного утихли.

— Петр что-то хочет сказать, слушайте!

— Да что ему там нужно?

— Да слушайте же, что человек скажет!

От волнения у Петра сперло дыхание, он с трудом дышал.

— Люди добрые, простите меня, потому что я вор! Я украл из гамазея...

И, сказав это, он упал на колени перед собравшимся сходом крестьян.

Крестьяне долго не могли понять, почему Петр называет себя вором, поскольку ни у кого из них не возникло даже подозрения о краже зерна из общинного амбара. Писарь велел было арестовать Петра, да крестьяне запротестовали.

— Это наше добро, мы и судить будем! — закричали они.

Но община не наказала Петра. Он наполнил три меш-

ка зерном и отвез его в амбар. И тогда он почувствовал себя так, словно вторично на свет родился. Односельчане не умом, а сердцем почувствовали, что довело Петра до такого поступка, и больше никто никогда не вспоминал об этом. Петр со временем обрел душевный покой. И Горпина опять стала прежней — такой, какой была раньше... И снова они стали жить так, как прежде жили.

1884 г.





## ХАТА

I

— Ты что, оглох или, черт тебя знает, о чем думаешь?! Говорят тебе — зови судей!

— Да я уже звал. Что с ними поделаешь, если они не идут? Магарыч распивают!

— Магарыч, говоришь? Какой магарыч? С кого?

И господин волостной писарь даже подскочил на месте.

Покуда старый, глуховатый дед Афанасий, волостной сторож, соберется ответить господину писарю, разрешите мне немного познакомить вас с ними.

Господин писарь был высокого роста, даже слишком высокого, поэтому его жене каждый раз приходилось набирать серой черкески ему на кафтан на аршин больше, чем другим мужчинам, и это всегда сильно расстраивало ее. На широких плечах господина писаря вышалаась длиннющая шея, а на ней довольно крупная голова. Самым выдающимся на этой голове был нос: он занимал почти все лицо. Нос был красный, даже несколько синеватый — это, наверное, от большой склонности писаря к магарычам, чем он так интересовался, расспрашивая сторожа. Во всем остальном лицо его было самое обыкновенное, как и у всех людей, и никаких «особенных примет» не имелось, разве только то, что за ухом писаря всегда торчала ручка. Звали писаря Фома Григорьевич, и был он весьма умным и знающим писарем, о чем он ежедневно и доказывал «мужикам», вымогая у них «гривенники», полтинники, мешки зерна и другое прочее, что полагалось ему за его писарские премудрости сверх его годовой заработной платы.

— Магарыч? С кого магарыч? За что магарыч? — снова закричал господин писарь на сторожа.

— Да разве я знаю за что? Там и Василий Трофимович с ними...

— Василий Трофимович? Ах они такие-сякие! Вишь, я ему все сделал, буквально все сделал и приговор написал, а он судей позвал, а меня забыл! Нет, не на таковского наскочил! Я пойду...

И разгневанный господин писарь схватил шапку и хотел было уже бежать, когда вдруг его остановил невысокий полный мужчина, чисто выбритый, с подстриженными усами, с льстивыми, но пронизывающими глазами, в чистом суконном кафтане. Это был Семен Алексеевич Цупченко, сельский торговец и шинкарь.

Он поймал писаря за рукав и произнес:

— Фома Григорьевич, да бог с ним, с магарычом! Да я вам, если только выиграю дело, в три раза больший магарыч поставлю! А судей еще рано звать, потому что я вам еще не все о деле рассказал...

— Да нет, да как же это так? Меня не пригласили? — злился писарь, порываясь идти.

— Нет уж, Фома Григорьевич, вы не уходите, выслушайте мое дело, — просил Цупченко, держа за рукав писаря.

— Нет уж, Семен Алексеевич, вы меня пустите! А то как же это: без меня магарыч? — не унимался писарь.

— Но, Фома Григорьевич, да вы послушайте: сейчас же после суда я вас к себе, а у меня, знаете, и очищенная, и наливочка, и всякое такое прочее!.. — искушал Семен Алексеевич.

При воспоминании о «наливочке, об очищенной и о всяком таком прочем» несколько смягчилось сердце Фомы Григорьевича, и он сел, однако успокоиться сразу не мог.

— Да вам-то спасибо за ваше внимание, — говорил он, — спасибо! Только и Василий Трофимович! И судьи!.. Ну хорошо! Я смолчу, только когда-нибудь я им припомню это!

— Так вот, доложу я вам, — снова начал прерванный разговор Цупченко: — я и одолжил деньги, тридцать и пять рублей, Шоломею, а он мне расписку выдал, что «по первому востребованию», а если нет, то его хата будет моей. Теперь он умер, детей нет, осталась одна вдова. Так могу ли я получить деньги со вдовы?

— Почему же нет? Была бы расписка. Она у вас есть? — спросил писарь.

Цупченко расстегнул кафтан, вытащил засаленную и измятую четвертушку бумаги, подал ее писарю. Писарь уткнулся в нее носом и забормотал:

— «18... даю сию расписку... по первому востребованию уплатить. В случае неуплаты принадлежащее мне недвижимое имущество... остается в пользу его, Цупченко...» Гм... гм... Это еще когда Лойко писарем был, тогда эту расписку писали? — спросил писарь прочитав.

— Ну да.

— Гм... гм... Тут, видите, не указано — хату, а «принадлежащее мне имущество», вот что.

— А разве хата не имущество?

— Известно — имущество. Только тут, видите, «принадлежащее мне».

— Да, оно так... Ведь она была его женой, так разве она не отвечает за него?

— Нет. Да разве вы не знаете наших? Сразу подни-

мут крик: «Примак, примак, хата не его!» А все крестьяне знают о том, что Шоломей был примаком у жены Новак, таким образом получается хата не его, а жены.

— Гм... Знаете, Фома Григорьевич, я уж так отблагодарю...

— Так отблагодарите! Что там благодарности! Тут, видите, дело какое... уголовное, если что!.. Да я разве не знаю? Тридцать пять рублей! Водочки-наливочки все в долг, а тогда и тридцать пять рублей...

— Точно, было и так. А все же и своих денег хотя немного, но дал! Ну да стоит ли об этом говорить — синенькая<sup>1</sup> вам, а уже о магарыче нечего и говорить: чего пожелаете — все будет!

— Синенькая?.. Гм... Так это вы хату за тридцать пять рублей получите, а хата такая, что она двести рублей стоит, а мне...

— А проценты же, Фома Григорьевич, а проценты?.. Ну да пусть еще две троячки! Хорошо? — И Цупченко вытащил из кармана кошелек.

— Гм... Конечно, проценты. Только ведь и дело такое, что...

— Да вот и две троячки! — произнес Цупченко, выкладывая на стол шесть рублей.

— Да... — ответил писарь, как-то очень поспешно пододвигая к себе деньги и пряча их в карман. — Только ведь подумайте, Семен Алексеевич, как можно вынести незаконное решение!

— Да разве нельзя написать так, чтобы оно законным было? А у меня в этом году хороший урожай ячменя — я бы мешочек...

— Гм... Оно если бы два, так лучше было бы. Да еще у меня кабан... — подсчитывал писарь.

— Да будет и кабану, и два мешка будет!..

— Судьи идут! — крикнул дед Афанасий вернувшись. — И Шоломейчиху ведут.

Когда ввели Шоломейчиху в волостное управление, трое судей уже сидели на скамьях, а рядом с ними за столом с бумагами и даже со «Сводом законов» — и сам писарь. Шоломейчиха была еще не старая, лет тридцати пяти, женщина, но рано состарившаяся от горя, недо-

---

<sup>1</sup> Синенькая — пятирублевая ассигнация.

статков и тяжелого труда. Лицо ее измучено, словно перепуганное, руки дрожат. Она медленно и робко вошла в комнату, поклонилась и промолвила, остановившись у порога:

— Здравствуйте, со вторником вас!

— Здравствуй, бабка, здравствуй! — воскликнул один уже немного подвыпивший судья. — Тут к тебе дело есть.

— Какое?

— А вот тебе иск предъявляют. Судиться хотят.

— Кто же это со мной судиться хочет? — робко спросила женщина.

— А вот, — произнес писарь, — Семен Алексеевич! Семен Алексеевич поднялся со скамьи.

— Так... Ну, Семен Алексеевич, расскажите нам, в чем ваше дело, — попросил его один из судей.

Семен Алексеевич откашлялся, выпрямился немного и начал:

— Так вот, дело такое, что не следовало было бы вас и беспокоить, господа судьи, но что поделаешь, если люди не по правде, нечестно живут. Когда еще был жив муж вот этой женщины, Николай Шоломей, так он одолжил у меня денег тридцать и пять рублей. И расписка вот есть... А теперь получилось такое дело, что и сам не отдал долг — так и умер, — и вот его жена не отдает.

— Вот расписка, — произнес писарь, подавая судьям бумагу, — расписка законная и справедливая.

Судья взял расписку, повертел ее в руках и снова положил на стол.

— Как же, тетка? Одалживала ты или хоть твой муж у Семена Алексеевича деньги? — спросил один судья.

— И помилуйте и пожалейте, люди добрые... — начала Шоломейчиха, кланяясь судьям. — Не знаю я, занимал он деньги или нет, я этого не видела... А вы сами знаете, как я с ним жила: только и знала, что из шинка выглядывала его. И у него же, у Семена Алексеевича, тогда и шинок был, так, может, он там пьяный и занимал, да и пропивал десять раз.

— А расписка? — спросил судья.

— Так что, если расписка? Я-то ее не писала, и не знаю, и не видела.

— Как — не знаешь?! Ведь ее дал твой муж, а ты не знаешь? — закричал на нее писарь.

— Не знаю, Фома Григорьевич, не знаю,— снова кланяясь, отвечала женщина.

Судьи тоже не знали, что говорить.

Цупченко, снова откашлявшись, произнес:

— Господа судьи, дозвоьте сказать! Вот она, эта женщина, говорит, что не знает, что, может, муж ее пропил эти деньги. Господа судьи! Ведь она мужняя жена, так как же она не знает и не хочет отвечать за своего мужа? И снова говорит — пропил. Ну так что, если пропил?

— Да видите ли, когда пьешь в долг, так оно потом всегда вдвойне приходится платить... — начал было один судья, почесывая затылок.

Но Цупченко не обратил внимания на его слова и продолжал:

— Ну так что же, если пропил? Это ко мне может зайти всякий пьяница, взять деньги, пропить их, и на него суда нет? Я не как-нибудь, а у меня расписка есть. Вот разрешите, господа судьи, расписку прочитать.

— Читайте, Фома Григорьевич, — сказали судьи.

Писарь вытащил из кармана платочек, громко высморкался, потом откашлялся, снова высморкался и стал читать. Все слушали молча, видно было, что, кроме писаря и Цупченко, никто ничего не понимает.

— Видишь? — обратился к Шоломейчихе писарь, дочитав расписку. — Здесь сказано: всем имуществом отвечаю. Понимаешь? Тридцать и пять рублей должна заплатить, либо имущество, какое у тебя есть — сиречь хату, — отдать.

— Хату? — со страхом произнесла женщина. — Так это же моя хата, а не мужа. Ведь он пришел на мое хозяйство, это отцовская хата, с деда-прадеда принадлежала нам, так и теперь она моя, а не его. И это я должна отдавать свое добро за то, что он пьянствовал?

— Ишь, какая красноречивая да премудрая! — произнес писарь, передразнивая женщину. — Сказано тебе: жена ты его и должна отвечать за него.

— Да оно и в самом деле, — отозвался один из судей, — оно и действительно всякому известно, что хата с деда-прадеда принадлежала Новакам, а не Шоломеям. Тут что-то не так...

— Что значит — не так? Что — не так?! — закричал



писарь. — Хата Новаков! Хата Новаков!.. Ну какое это имеет отношение к делу, если хата Новаков?

— Да видите ли: Шоломей одалживал, с Шоломея и надо было взыскивать. А чего теперь на бедную женщину нападать? — защищал Шоломейчиху судья.

— Именно так, как это вы говорите: разве я знала, разве я ведала, где и как он занимал? А хата моя, от отца, от деда и прадеда — моя.

— Ты уж молчи, если тебя не спрашивают!.. — кричал на нее писарь. — Яков Иванович, Петр Васильевич, Григорий Семенович, — обратился он к судьям, — вот послушайте, что я вам скажу! Она говорит: хата Новаков. Хорошо! Но ведь она вышла замуж за Шоломея, стала Шоломеевой женой?

— Так.

— А в законе изображено, вот в законе, — говорил писарь, стуча рукой по «Своду», — изображено, что жена есть, то есть сказать, рабыня мужа и что все, что было ее, то его стало, ибо единая плоть и дух единый, а потому и добро все единое, для обоих единым должно быть. И понеже муж есть хозяин, и глава дома, и единый властелин, то теперь получается, поскольку она вышла замуж за Шоломея, что хата принадлежит уже не ей, а Шоломею, ее мужу.

— Так мужа моего-то нету... — начала было женщина.

Но писарь грозно посмотрел на нее и продолжал дальше:

— Хата стала принадлежать мужу. И раз муж умер, то жена, стало быть, только владеет добром мужа, и поэтому все, какие есть, долги и займы и претензии всякие должны взыскиваться с этого добра. Вот каков закон! — добавил писарь, вытирая платком вспотевший от длинной речи лоб.

Судьи молчали. Видя это, Цупченко сказал:

— Рассудите уж, пожалуйста, уважаемые господа судьи, меня с ней: пускай или деньги мне вернет, или своим имуществом пусть отвечает. Рассудите по правде — я уж вас отблагодарю и магарыч поставлю.

— Да это конечно... — произнес один судья. — Да вот только я никак не пойму, как это так, что хата была ее, а вдруг сразу не ее стала?

— Как это не поймете?! — подскочил писарь. — Я же вам говорю: понеже и в писании и в законе стоит: муж и жена едина плоть есть и жена своему мужу во всем кориться должна, а муж единый глава и властелин всему дому, посему это уже не ее хата, а перешла к мужу Шоломею, и жена, владея добром мужа, должна уплачивать его долги.

— Рассудите, господа судьи, — снова начал Цупченко, — я уж вас отблагодарю...

— И помилуйте и пожалейте, люди добрые! Ни в чем я тут не виновна! — умоляла женщина.

— Да смотрите, Фома Григорьевич, так ли это? — спросил писаря один из судей.

— Так, так! Именно так и закон изображает, и писание глаголет, — ответил писарь.

Судьи еще помолчали.

— Что же ты, соглашаешься уплатить? — спросил, наконец, один из них у Шоломейчихи.

— Не могу я, да и где мне такие деньги взять? — ответила она.

— Так вот же слышишь: хату, говорят, тогда заберут у тебя, потому что в расписке, видишь, как там сказано... всем, говорит, мучеством<sup>1</sup>, или как там, отвечаю...

— «В случае неуплаты принадлежащее мне имущество остается в пользу его, Цупченко», — прочитал писарь.

— Слышишь, тетка, что там написано? — спросил один из судей.

— Да разве я знаю, что там написано, что оно и к чему? Мы люди темные. А хата наша, Новакова, испокон века.

— Яков Иванович, Петр Васильевич, Григорий Семенович, — обратился писарь, — ну стоит ли тут еще с какой-то глупой бабкой разговаривать? Здесь человек солидный, Семен Алексеевич, вот говорит — не то что эта баба, — да и расписка есть.

— Но нужно и ее расспросить... — ответил Григорий Семенович, как величал его писарь, а по-простому дядя Григорий.

---

<sup>1</sup> Мучество (искаж.) — имущество.

— Да что тут расспрашивать?! — сердился писарь. — Что тут расспрашивать?! Ведь расписка у вас есть? Ну так нужно писать приговор.

— Погодите, Фома Григорьевич! А что, если мы поступим несправедливо? А что, если придется писать такой приговор, чтобы она этих денег Семену Алексеичу не отдавала? — настаивал на своем дядя Григорий.

— Как — не отдавала? Какой это такой приговор? — спрашивал писарь. — Да вы знаете, что говорите? Да вы знаете, к чему это может привести? Если вы вынесете такой приговор, чтобы она не отдавала денег, так, во-первых, присутствие его отменит — это раз, писарь загнул палец, — а во-вторых, то, что тогда Семен Алексеич может пожаловаться на судей за лицепрятие, сиречь — несправедливое, ради своей выгоды, решение... А вам известно, что за такое лицепрятие по закону следует, известно?

— Да откуда же нам знать? Мы люди неученые, законов не знаем...

— То-то, что не знаете! За это вас самих под суд, в рещантские роты отдадут — вот как! Да я и писать такого вашего приговора не стану! А то еще и сам буду отвечать за написание. — И писарь поднялся из-за стола и вышел, а следом за ним Цупченко.

— Что же его делать? — почесывая затылок, спросил Яков Иванович.

— Да слышите, говорит, что если будет такой приговор, чтобы не платить, так и писать не хочет, потому что и за написание, вишь, кара, — ответил Петр Васильевич.

— Вот те положение! И женщину жаль... Так, может быть, ты, Параска, заплатила бы деньги, а то слышала: хату хотят отсудить, — сказал Яков Иванович Шоломейчихе.

— Боже мой, да за что я буду платить и где я столько денег возьму? У меня часто и есть нечего! — жаловалась женщина.

— И кто его знает, что нам делать? — сетовал Яков Иванович.

— А мне кажется, что все это не по правде! Это все Фома крутит. Хата не Шоломеева, и платить за нее нечего, — произнес дядя Григорий.

— И как же так — не по правде? Говорит же тебе

писарь — иначе никак нельзя, ну и нужно так писать, чтобы отдать хату Цупченко, — отозвался Петр Васильевич.

— А куда же ты правду спрятал? — спросил его дядя Григорий.

— Женщину жаль... Так слышал же — и наказание, говорит, за лицемерство, или как там он говорил, большое. В рештантские роты, слышал... — испуганно говорил Яков Иванович.

— Ну, а уж наш писарь не соврет, уж ежели скажет, что не отменят приговор, так ни в жизнь не отменят — вот уже сколько раз было так. Ну, а уж если сказал, что отменят приговор в присутствии, так того и жди, так и будет. Давно ли было, как Онисия Шупуваленко за такой приговор присутствие сняло из судей, да еще и самого чуть было под суд не отдало? Вон как! — говорил Петр Васильевич.

— А теперь, вишь, говорит, что не только отменят, а за лицемерство еще и рештантские роты, слышишь, будут! — сказал Яков Иванович. — А женщину жаль. И кто его знает, что и делать? — рассуждал он.

— Наверное, надо писать так, как писарь говорит, — вновь посоветовал Петр Васильевич.

— Нет, не так... нет! — сказал дядя Григорий. — Это не по правде будет!

Шоломейчиха, стоявшая все время молча, теперь упала на колени перед судьями и молила их:

— Ой, помилуйте и пожалейте! Куда же мне деваться, если меня выгонят из хаты? Что же мне, подыхать, как голодной собаке, под тыном? Это же мое добро, мое наследство! — рыдала бедная женщина.

— Ну и ну! — нахмурились судьи. — Ну уж и шкуродер этот Цупченко — последнюю хату отнимает! Ну и человек!

Только Петр Васильевич молчал.

— Да нельзя ли как-нибудь пособить ей?

— Слышал же — лицемерство...

— Яков Иванович, Петр Васильевич, Григорий Семенович! — окликнул их из соседней комнаты писарь.

— А что там? — спросили судьи.

— Да вот идите сюда, что-то сказать хочу.

Судьи ушли.

Спустя некоторое время и судьи, и писарь, и Цупченко сидели в шинке за столом. Только Параска Шоломеева осталась в волостном управлении поджидать судей. Цупченко с бутылкой в руках угощал каждого, потчужа и приговаривая. На столе лежала закуска — чухонь и хлеб. Все пили и ели. Опустошили один полуштоф. Цупченко принес второй. После второго судьи совсем опьянели. Тогда Цупченко начал разговор о деле.

— Так как же, господа судьи? — начал он. — Как будет с делом?

Судьи ответили не сразу. Первым отозвался дядя Григорий:

— А что же, Семен Алексеевич, дело такое: примиритесь вы с нею, договоритесь. Ведь правда не на вашей стороне.

Дядя Григорий, подвыпив, стал смелее.

— Как же это, господа судьи, не на моей стороне? — доказывал Цупченко. — Что же, мои деньги должны зря пропадать?

— О чем разговор: ваше дело неправое! — крикнул Петр Васильевич.

— Как это неправое?! Ведь расписка есть. А человек нам магарыч поставил!

— Что там магарыч! Магарыч — ерунда! А я на магарыч так смотрю: почему бы не выпить с человеком, если угощает? Если привык пить — пей! Я сам вначале не пил, а теперь вот уже четвертый год судьей — научился пить. И пью... Магарыч что!.. — сказал уже совсем пьяный дядя Григорий.

— Ишь, какой умный, хочет даром магарыч пить! — нападал на него Петр Васильевич.

— Нет, не так! А я хочу, чтобы по правде было.

— Да что там много разговаривать, кушайте еще чарочку на доброе здоровье! — уговаривал Цупченко, угощая дядю Григория водкой.

— Чарку? Я чарку выпью... Но только не по правде...

— Семен Алексеевич, — писарь тихонько одернул за полу Цупченко, — хватит уже угощать, а то они и до волости не дойдут. Теперь они в самый раз...

И в самом деле, дядя Григорий и Яков Иванович были «в самый раз» — они уже вряд ли понимали, где они находятся и что делают. Только Петр Васильевич все еще не унимался, поддакивая и расхваливая Цупченко.

— Ну, надо идти в волость кончать дело! — поднялся писарь.

Но это он должен был повторить еще два раза, пока судьи поняли, чего от них хотят. Кое-как выбрались они из шинка, пришли в волостное управление. Писарь на некоторое время удалил Шоломейчиху из комнаты, а сам наскоро состряпал «приговор» — конечно, такой, какой нужен был Цупченко.

— Ну, Петр Васильевич, Яков Петрович, Григорий Семенович, нужно приложить печати, давайте!

— Я сейчас! — крикнул Петр Васильевич.

Яков Иванович молча вытащил печать из кармана.

Вытащил печать и дядя Григорий, силясь произвести:

— И я дам, только это не по правде... А вы делайте, чтобы по правде было...

— Да все будет по правде, — ответил писарь, беря у них печати, подогревая их на свече и прикладывая к приговору.

Когда всё оформили, пригласили Шоломейчиху и прочитали ей приговор. Слушая, бедная женщина заливалась слезами, не в состоянии что-нибудь сказать. А судьи теперь не понимали ни того, что писарь читал, ни ее мольбы.

## II

Параска Шоломейчиха жила теперь одиноко. Детей у нее не было: был один мальчик, да и тот умер, когда ему исполнилось девять лет. Муж тоже недавно умер; даже из родственников никого не осталось — все поумирали. Жизнь у нее была одинокая и безрадостная...

А когда-то она жила совсем иначе.

Семья ее была зажиточной: когда-то ее отец по четыре пары волов водил в Крым за солью, хозяйство у них было большое, хата хорошая. У отца было только двое детей: она, Параска, да сын, старше ее на пять лет. Отец и мать очень любили своих детей, ничего для них не жалели. Брату было восемнадцать лет, как он умер, воз-

вращаясь из Крыма. И с тех пор отец перестал заниматься чумачеством — не мог даже вспоминать о нем. Однажды как-то сказал: «Сожрало оно моего сына».

Да больше уже никогда и не вспоминал об этом.

Осталась у них единственная дочь Параска. И теперь всю свою любовь отец и мать отдавали ей. Жила девушка как в раю: у нее было все, чего бы она только не пожелала. Мать жила только ради нее, а отец хотя и печалился о том, что нет сыновей и некому будет присмотреть за отцовским добром, все же дочь была для него единственным утешением. Дочь еще только косу начала заплетать, а мать, бывало, подойдет к ней, станет рассматривать со всех сторон, потом подумает, да и скажет:

— Ох, доченька ты моя любимая! Ты становишься все краше, и придется нам разлучаться с тобой. Может быть, за какого-нибудь непутевого человека замуж выдавать!

А отец, если во время этого разговора находился в хате, будто с досадой скажет:

— Тоже выдумала, когда-то оно еще будет! Сказано — женщины!

А у самого на глазах слезы заблестят...

А потом Параска вышла замуж.

Был у них сосед, сын вдовы. Их дворы рядом стояли. Жили те не в своей, а в чужой хате, потому что непутевыми людьми были.

Сын вдовы был красивый, аккуратный, но, к несчастью, хозяйства у него не было никакого: отец был пьяницей и ничего сыну не оставил. Поэтому Микола (так звали его) все больше по найму работал в городах. На эти заработки содержал себя и мать, покуда она жива была. Ну, а однажды случилось так, что он никуда не смог наняться на работу и жил дома. Дворы их были рядом, сады тоже. Они познакомились. Параска часто встречалась с ним. Параска полюбила его за красоту, за черные брови и за ласковые речи. Одно только страшило ее — пил иногда Микола. Вот и стала она ему говорить:

— Микола, брось пить — это к добру не приведет!

— А почему бы мне за свои деньги и не выпить? На кой черт тогда я зарабатываю их! — А немного погода,

подумав, сказал: — Ты правильно советуешь мне, Парася: не буду я пить, а то твой отец не выдаст тебя за меня замуж.

И действительно, пока он жил в селе, не пил. А когда уезжал в город, то там не расставался с чаркой, да об этом никто не знал — ни Параска, ни ее отец.

Год любили они друг друга. Микола в то время уже не жил в городе, а нанялся на работу к местному крестьянину.

Прошел год, говорит он Параске:

— До каких пор будем по садам прятаться? Мне тоже пора хозяином стать. Я к тебе сватов пришлю.

И вскоре прислал сватов к ней.

Родители Параски долго колебались. Колебались потому, что не хотелось им, зажиточным хозяевам, свою единственную дочь выдавать замуж за бездомного парня; да еще и потому, что раньше о Миколке нехорошая слава ходила по селу, хотя сейчас и был он степенным парнем. Но, когда мать поговорила с дочерью и узнала, что та любит Миколу, не захотели старики идти против желания родного дитяти — да и подала Параска рушники<sup>1</sup> сватам.

Только отец все время тревожился.

— Смотри же, — говорил он, бывало, Миколке, — отдаю я тебе Параску. Не обижай моего ребенка! И скотина вся, которую я нажил своим трудом, будет вашей после моей смерти. Можно хозяином стать, смотри же!

А Микола в ответ:

— Не беспокойтесь, батя! Да я не знаю, как за вас господу молить!

Взяли в свой дом зятя примаком. И пока были живы отец и мать Параски, ей жилось хорошо. Хотя и казалось порой, что Микола как будто бы не так относился к ней, как прежде, — охладел к ней, но она молчала. «Это мне только кажется так», — думала она.

А Микола был неплохим работником и умел потрафить ее отцу. Так он увивается вокруг отца, так угождает ему, что лучше быть не может...

Умер отец, умерла мать, стали они жить самостоятельно на отцовском хозяйстве. И, как только они стали

---

<sup>1</sup> Рушник — вышитое полотенце.



жить одни, Параска хлебнула горя — сначала немного, а потом испила его полную чашу.

После смерти отца Микола сразу стал пить, совсем забросил хозяйство. Параска стала говорить ему об этом. Вначале он отмалчивался, будто стыдно ему было. Но это длилось недолго. Однажды ей все стало понятным. Пришел он пьяный. Параска что-то и скажи ему.

Он как закричит на нее:

— Разве я не хозяин своего добра?! Все мое, я один тут хозяин! Захочу пропить — и пропью. Довольно унижался и ползал перед твоим отцом — теперь моя воля! На кой черт я тогда и женился на тебе?

Теперь все поняла несчастная женщина, да только поздно...

И стал Микола пьянствовать, бездельничать. Отцовское добро пошло прахом. Порой будто бы и образумится Микола — кажется, примется хозяйничать. Разумеется, стыдно мужику, да еще и зажиточному, есть купленный хлеб, а свою ниву оставлять невспаханной — ну и посеет он так, лишь бы для себя хватило, а потом снова... И тогда ни слезы Параски, ни ее мольбы, ни упреки — ничто не помогало. Вначале он только ругал ее, а потом и бить стал. И началось это с той самой поры, как сошелся он с вдовой-солдаткой. Тогда уже всего натерпелась Параска, всё испытала...

Проходили так дни за днями, недели за неделями. Прошел так один год, и второй, и третий. От наследства отца осталась одна хата, а Параска — изнеженная родителями любимая дочь — превратилась в преждевременно состарившуюся от скандалов, побоев, тяжелой работы и недостатков женщину.

\* \* \*

Параска Шоломеева вернулась из волости домой как безумная. Горе, неожиданно обрушившееся на ее голову, сломило, придавило бедную женщину, отняло у нее последние силы. Она понимала только одно, что ее выгоняют из собственной хаты, отнимают последнее пристанище, последнее добро. И эта мысль так овладела ею, что она ничего не могла делать, никуда не ходила и все время думала только об этом. Забежала к ней соседка Ма-

трена, хотела расспросить ее, подбодрить, но ничего от нее не услышала, кроме одного:

— Погибла я!

Но прошло несколько дней — из волости никто не приходил, ее не тревожили. Теперь у нее появилась какая-то надежда.

«А может быть, их растрогали мои горькие слезы, мое убожество — и они не тронут меня».

Так думала она, и надежда понемногу оживала в ее израненном, наболевшем сердце. Ей хотелось убедиться в этом, и она несколько раз порывалась пойти к Цупченко или к писарю поговорить с ними. Но словно какая-то невидимая сила не пускала ее, будто предвещала ей, что если она пойдет, то ничего хорошего от них не услышит.

— Пусть будет так, — говорила она сама себе. — Буду жить молча, может, как-нибудь обойдется.

И она ни к кому не ходила, ни с кем не говорила о хате, а жила только надеждой, что все будет так, как нужно.

Прошла третья неделя, прошла четвертая. Параска была почти уверена в том, что останется жить в своей хате.

— Да они, наверное, только поугадили меня, а потом как увидели, что я не поддаюсь им, они и притихли.

Так рассуждала она и успокаивала себя этой мыслью. И стала даже хату готовить к зиме: обмазала окна, чтобы не так холодно было.

Бедняжка! Она не ведает о том, что ее враг Цупченко только и ждет, чтобы приговор волостного суда вступил в силу, прошел законный срок — один месяц!

Но вскоре она узнала об этом...

Однажды она после обеда подметала хату, вдруг слышит — во дворе залаяла собака. Параска выглянула в окно. Во двор вошел писарь, а следом за ним Цупченко и староста. Веник выпал у нее из рук, и, вся дрожа и бледнея, она остановилась посреди хаты.

Звякнул засов, гости вошли в сени. Параска услышала, как произнес писарь:

— Ну, Семен Алексеевич, вот вы и в своей хате!

Открылась дверь, и вот уже гости вошли в хату — все трое; староста «с нагрудным знаком».

— Здравствуйте, — говорит старшина, — с вторником вас!

Но Параска от волнения не может даже слова вымолвить и лишь молча смотрит на гостей.

— Принимай, бабка, гостей в хату, да хотя не гостей, а хозяина! — воскликнул писарь и тут же добавил, обращаясь к Цупченко: — А неплохая хатка, Семен Алексеевич! Ей-ей!

— Да за свои деньги! Не даром же перешла ко мне, — ответил тот, оглядывая хату со всех сторон.

— Ну, бабка, — снова начал писарь, — пора тебе хозяина пустить в его хату. Слышишь?

— Какого хозяина? — с трудом произнесла Параска.

— Как это — какого? Да ты, оказывается, глупая, до сих пор не знаешь? Ведь вышел срок для вступления в законную силу приговора — месяц. Ты в присутствие не подавала, значит, хата теперь не твоя, а Семена Алексеевича. Так говорит закон.

— Именно, как закон говорит, по закону! — равнодушным тоном добавил Цупченко.

Так вот оно что! Вот почему ее целый месяц не беспокоили! А теперь, видишь, срок вышел...

— Слышишь, бабка, — сказал Цупченко, — к завтрашнему дню чтобы ты выбралась отсюда со всеми своими пожитками, потому что завтра мне хата нужна! И чтобы непременно!

— Ну да, непременно! — добавил писарь. — А не захочешь по доброй воле, за ноги выволочим. Слышишь? Вот тебе тут и староста об этом скажет!.. Чего же вы молчите, словно вас тут и нету?

Староста, впутавшись в такое дело, чувствовал себя неловко и чуть слышно промолвил:

— Да я что же... И я, конечно, так...

Ему было стыдно и тяжело смотреть на побледневшую как смерть женщину.

— Вот чтобы знала — хата завтра должна быть свободна, и непременно! — снова произнес Цупченко.

— Ну пошли уже — теперь ей объявлено! — сказал писарь, поворачиваясь к двери.

— Пойдемте!

Писарь и Цупченко еще в хате надели шапки и вышли, а следом за ними, свесив голову, поплелся староста.

Параска хотела было крикнуть, что-то сказать, но у нее не хватило сил. Она молча, как подстреленная, склонилась на скамью.

Так вот оно что! Вот почему до сих пор ее не выгоняли из хаты: срок не вышел!

А теперь вышел уже срок, и ее выгоняют, как собаку, выгоняют из собственной хаты, из той хаты, где вырос весь ее род, вырос ее отец, выросла и она.

Параска вспомнила прошедшие годы, и перед ее взором пронеслись, заблестали, словно прекрасные картины, давние радостные детские годы. Эти картины на какое-то время померкли, стерлись в ее душе, а нынче снова ожили и заиграли яркими красками, ослепляющими глаза несчастной одинокой женщины, охваченной волнующими воспоминаниями... И радость, и муки тех времен, и слезы, и смех, и солнце, и тучи — все возникло перед ней и наполнило измученную душу какой-то новой силой, желанием снова обрести хорошую жизнь.

Только вот среди этих блестящих и любимых картин начинают появляться другие, мрачные и печальные, где лишь одни только тучи и нет солнца, где лишь слезы и нет смеха. Что это? Это они, проклятые дни, которые ей пришлось пережить после смерти отца. Она не хочет думать о них, ибо невыразимая тоска охватывает ее, но не может... Картина за картиной, образ за образом возникают перед ней и плывут... И отчетливее всего один — тот, который никогда не исчезнет у нее из памяти.

Параска видит его пьяного, растрепанного, в рваной сорочке, с всклокоченными волосами, с побитым лицом после драки в шинке из-за солдатики, с бессмысленными и злыми, по-звериному выпученными глазами, с сжатыми кулаками. Он стоит напротив нее. «Я убью тебя, если ты мне хоть слово скажешь, только напомнишь о ней!..»

И он стал бить ее кулаками по голове, лицу, груди... Она упала на пол, а он все бил ее, бил руками, ногами и ревел: «Убью!»

Вздрагнула Параска и очнулась.

Неужели смеркается? Сколько же она потратила времени на размышления? Она поднялась и только теперь почувствовала, что было очень холодно. Она посмотрела

и увидела, что гости не закрыли за собой двери. Параска пошла закрыть их. Посмотрела — в двери дыра, ветер так и несет в нее. «Нужно заткнуть чем-нибудь... — думает Параска. — Но зачем?» — тут же возникает у нее другая мысль. Ведь эта хата теперь не ее — разве ей не все равно, будет здесь холодно или тепло?

Хата теперь не ее! Ах, будь проклят этот Цупченко, будь проклят навеки! Он прежде обворовывал ее и грабит сейчас. Сколько он выманил у Миколы, когда тот был жив, а теперь и у нее отнимает последнее! Лютый зверь!

И невыразимая злость и ненависть зажглись в душе Параски. Ей захотелось чем-нибудь отомстить Цупченко, который принес столько горя ее семье. Ей хотелось так отплатить ему, чтобы он помнил ее. Она на все пойдет, лишь бы только чем-нибудь донять его, проклятого! И она загорелась желанием отомстить ему, но тут же остановилась, не зная, с чего начать. И вдруг вспомнила:

«А, ты хочешь взять мою хату, хочешь отнять ее у меня? Нет, так просто ты не отымешь ее, не отымешь — я изрублю и сожгу ее!..»

И она схватила топор, лежавший под скамьей, и как безумная стала рубить и уничтожать все, что попало ей под руку: и печь, и скамью, и стену, не обращая внимания ни на что, охваченная одной мыслью: отомстить этому проклятому!

— Пускай знает, пускай знает, что я не прошу ему этого! Не моя хата — так не будет и его! А я не дам ему своего наследства!.. — И она снова рубила и рубила...

Но чем дальше, тем она все больше и больше слабела, ее слабые руки обессилели, и она едва взмахивала топором, ударяя уже обухом, а не острием и не замечая этого. Потом все ее существо, обессилевшее, измученное тяжелыми переживаниями, не выдержало, и Параска внезапно, как мертвая, упала на пол без слов, без стона.

И она лежала среди изрубленных скамеек, печки, стола, обрутков и клочков одежды, лежала в той самой хате, которую ей так не хотелось оставлять. Лежала неподвижно, ничего не ощущая и не понимая. На дворе

уже наступила ночь, окутавшая все вокруг черным покровом, а порывистый, холодный осенний ветер завыл и застонал так, словно он отпевал мрачную панихиду над этой разбитой, раздавленной жизнью...

На следующий день Параска выбралась из своей хаты. Ее приютила одна убогая семья.

Прошло несколько лет.

В хате, где когда-то жили целые поколения честных земледельцев, теперь стоит громкий шум, раздаются пьяные голоса, брань — сейчас здесь шинок Цупченко.

1886 г.





## САМ СЕБЕ ГОСПОДИН

Я ехал в поезде, и, как обычно, в вагоне третьего класса с надписью: «Для некурящих».

Эх, эта надпись! Всякий раз приходится воевать с пассажирами, чтобы они и в самом деле не курили. Об этом известно каждому, кому приходилось ездить в таких вагонах, надеясь укрыться в них от противного, отравляющего дыма горящих листьев. Если ты даже ребенок, страдающий тяжелой болезнью легких и беско-

нечно кашляющий, — ничего не значит: будут душить тебя этой травой, смеясь над твоими просьбами и протестами.

В этот раз пассажиров в нашем вагоне было очень мало, и среди них оказался только один курильщик — высокий пожилой крестьянин в лохматой папаше, из-под которой блестели выразительные, умные глаза. Он ехал вместе со своими двумя товарищами. И по их разговору я узнал, что сельская община не в первый раз посылает этих троих мужиков в город хлопотать об одном общественном деле. Теперь они возвращались домой и были веселы: их дело шло хорошо, вот-вот они добьются своего. С иронией вспоминали они, как сегодня обивали пороги какой-то губернской канцелярии и разговаривали с господами чиновниками. Мужик в папаше вытащил в это время из кармана поддевки курительное зелье и своими толстыми, рабочими руками стал копаться не спеша в кисете, извлекая оттуда табак и набивая трубку. Когда он хотел было зажечь спичку, я попросил его не курить, указав пальцем на надпись.

— Разве? — поднял он голову и посмотрел туда, куда я показывал пальцем, и прочитал: — «Для не-кура-щих». Да, верно, здесь не полагается. Извините, не буду. Коль такой порядок, чтобы тут не курить, я и не буду курить. Потому что, известно, при каких порядках живет человек, таким и должен подчиняться. Вот, если бы тут не было этой таблички и вы были самым большим господином, я бы вас не послушался. И вы со мной ничего не поделали бы, — говорил он мне, выбивая табак из трубки снова в кисет.

— Тогда я вам бы ничего и не говорил, потому что тоже подчинился бы такому порядку.

— Неужели? — спросил он, завязывая кисет и снова, как и в первый раз, посмотрев на меня. — Вот это хорошо, что вы так думаете. В жизни обычно бывает так, что простые люди соблюдают порядок, а господа нет. Это я уже проверил на собственном опыте. Однажды со мной произошел такой конфуз и не из-за курения.

— А что это за конфуз? — спросил я заинтересовавшись.

— Это действительно конфуз! — засмеялся седой старик, товарищ моего курильщика.



— Комедия настоящая! — добавил тоненьким голосом второй — худой, остроносый, юркий мужичок. — Я бы так вовек не сумел сделать, как Данило, не выдержал бы. Нужно быть таким упорным, как он, чтобы настаивать на своем.

— Так, может быть, вы и мне расскажете об этой истории? — попросил я Данила.

— Конечно, расскажи, Данило, господину, расскажи! — затараторил тоненьким голосом остроносый, повернувшись к Данилу. — Ох, смешная, ну и смешная история!

Данило подумал немного, улыбаясь в густые темные усы и небольшую бородку, и сказал:

— Да что там особенного? . . . Вот, к примеру, человек что-то делает, в то же время то про одно, то про другое думает, обмозговывает. Вот так и я. . . Как-то странно мир устроен: все люди одинаковые, а жизнь у них разная. Да вот взять хотя бы мужика — у него одна жизнь, а у господина совсем другая. И уважение к ним неодинаковое. Только войдет куда-нибудь господин, лакей тут же подбежит к нему, раскланяется, пальто снимет, да еще и приговаривает: «Пожалуйста, пожалуйста!» Еще и дверь широко открывает, чтобы, случайно, не зацепился господин; а ткнишь туда наш брат, мужик, так сейчас же он заорет: «Ну ты, мурло! Куда прешься? Поворачивай обратно, дубина!» И тотчас эту же дверь, если она даже открыта была настежь, закроет перед тобой. . . Ну, скажем, лакей — это, понятно, господская помойная лохань: каких помоев туда влей, такими она и вонять будет. Такая уж у него душа. . . Так же и другие. . .

Почему это так? Неужели все из-за денег? Потому что у господ денег много: тут же он лакею тычет в руку, а тот ему и шубку снимет, и дверь закроет. . . Или, к примеру, едешь поездом, садишься в вагон третьего класса, а кондуктор тут же на тебя заорет, а иногда и в спину натолкает, а ведь он такой же самый мужик, как и наш брат, мужик, только что мундир с пуговками носит. А господин за большую плату садится в первый класс. Так уж там он на кондуктора кричит, а тот только все лепечет: «Как вам угодно». . . Сто чертей ему в печенку! Да, мир все-таки нехорошо устроен! . . .

Ну, думаю, будь что будет, а я все-таки разужню,

как нужно на свете жить, чтобы никто тебя в шею не гнал и чувствовал сам себя господином!

Ездят господа в первом классе — поеду и я!

Черт с ним, что дорого, ведь я от этого не обеднею. Хозяйство у меня хотя и небольшое, да и не совсем маленькое, а сын у меня единственный — трудолюбивый парень. Так все равно ему все останется. . . Вот разве еще дочь есть. Ну, когда будет выходить замуж, что-нибудь дам и ей, а больше у меня никого нет.

Вот так рассуждая — а это было прошлой осенью, — и стал я собираться в дорогу, но никому об этом не говорю. У меня таки в городе и дело было к одному человеку. Когда наступил этот день, взял я денег рублей около двадцати, да и собрался уже на станцию идти.

А жена:

— Что это ты, муженек, в дорогу собираешься, а куда и не сказываешь? Что это за мода? Наверное, уже снова по каким-то общественным делам? Только деньги зря тратишь.

А я засмеялся, да и говорю:

— Пойду добиваться городского права.

— Тю! — говорит. — Ты что, с ума сошел? Или тебе на свете надоело жить?

— Нет, — смеюсь, — жить-то не надоело, а вот мужицкое право надоело!

— Что ж ты будешь делать? — спрашивает она, а сама, вижу, тревожится, работу бросила и не знает, что и сказать.

— Что я буду делать? Пойду туда, где господа бывают, посмотрю, нельзя ли устроить так, чтобы мужик в одной комнате с господами сидел.

Она как заплачет:

— Ой, горюшко! Пропал же ты, пропал навеки! Да тебя же заперют, в Сибирь сошлют или на Соколиный остров запроторят! Да там всяких гадов столько, что крещеному человеку ступить негде. . . (И откуда она узнала про гадов?) Да детей ты наших маленьких сиротами оставишь! . .

А они, эти деточки, такие крохотные. Сына этой осенью женил, да и к дочери часто ходят те, что кунци ищут. . . Хорошо, что их обоих в это время еще в комнате не было, а то старуха и их бы в сию историю впу-

тала. Я уже и не рад был, что признался. Стал ее уговаривать и так и этак... С трудом успокоил, умолкла. Она молчала, но думала о своем: когда провожала меня, то слезы так и блестели на глазах.

И жаль мне ее, и самому почему-то грустно стало. Ну, а все-таки от того, что задумал, не отступаю — иду на станцию. Пришел.

Взял билет первого класса. Все-таки продали и слова не сказали... Ого-го! Да и дорого же он стоит, чтоб ему пусто было! Получается, что господское право не даром достается!.. Ну, где наше ни пропадало!

Иду я к вагону, рассматриваю, где синим нарисовано — это мой. Так прямо и подхожу к вагону первого класса. А навстречу кондуктор.

— Не сюда, не сюда!.. — кричит. — Куда прешься? Вперед иди — там вагоны третьего класса.

А я все-таки лезу в вагон.

— Ты слышишь, мурло, что я тебе говорю? Третий класс не здесь, а впереди.

— Да чего вы кричите? — отвечаю. — Мне не третий класс нужен, а первый, — и показываю ему билет.

— А-а, господину билет несешь? Ну, иди, если так... Да не задерживайся там, потому что поезд скоро отойдет, — сказал он, да и пошел дальше.

«Врешь, — думаю, — нынче я сам себе господин», — и поднимаюсь в вагон первого класса.

Иду, а у самого поджилки трясутся. Вошел туда. Побей тебя божья сила! Сразу и не разберешь, куда поткнуться. Однако протиснулся по узенькой улочке и попал в такое место, что это уже не вагон, а прямо-таки настоящая господская светлица: тут и столик, тут и постель, и даже диванчик...

Людей там было немного: несколько господ и две госпожи. Вижу — господа сидят. Нужно и мне садиться. Увидел я свободное место, подошел и сел на диванчик, да так и утонул в нем! Ну и мягко!..

— Мужичок, а мужичок! — обращается ко мне молодой господин с белесыми подкрученными усиками. — Ты не туда попал: здесь первый класс.

— Да, — говорю, — господин, первый.

— Ну так зачем же ты, — говорит, — сюда садишься, если тебе нужно в третий?

— Нет, — отвечаю, — мне именно в первый и нужно, а третий для меня не подходит, потому что у меня билет сюда.

— Что ты, — говорит, — выдумываешь невесть что!

— Чего бы это я выдумывал? — отвечаю. — Посмотрите сами.

И протягиваю ему билет.

Посмотрел он раз, второй, пожал плечами. Потом переглянулся с другими господами. А те прислушиваются, о чем мы разговариваем.

— Действительно, — говорит он им, — у него билет первого класса.

Тут еще некоторые из господ подошли, смотрят на мой билет и удивляются.

— Кто же это тебе дал этот билет? — спрашивают.

— Никто, — говорю, — мне не давал его, я сам себе купил.

— Зачем ты его купил? Это ведь дорого — в третьем классе дешевле, — вмешивается толстый господин с такой бородой, что на щеках болтается, а посередине голо.

— Да, дешевле, — отвечаю.

— Так зачем ты купил сюда?

— А вы, господин, зачем купили сюда, а не в третий? Ведь и вам дешевле было бы.

Один господин — такой дородный, с черной бородой — засмеялся и говорит:

— Он правильно говорит.

А тот толстый господин, у которого посередине бороды дорога протянулась от губ до шеи, начал злиться.

— То ты, а то я! — поучительно сказал он. — Ты не сравнивай себя с нами, а если уж сел здесь, так сиди тихо и не пори всякую ерунду.

— Так разве это я затронул вас, господин? Ведь вы пристали ко мне, — отвечаю ему, но вижу, что он сердится, сию помалкиваю.

И он умолк, отошел в уголок к окну и сел напротив меня, немного наискось, потому что я сидел впереди.

Пока мы вот так разговаривали, поезд тронулся, а немного позже и кондуктор вскочил в вагон — тот самый, который направлял меня в вагон третьего класса. Смотрит на билеты и щелкает по ним. Подошел он и ко мне:

— А ты чего здесь? Я же тебе говорил, что не в этот вагон.

— Выходит, в этот, — отвечаю я и протягиваю ему билет.

А он посмотрел на него и оторопел.

— Так это, — говорит, — твой... ваш билет? — Уже не знает, как и говорить со мной.

— Да мой же, мой, — отвечаю.

Он тогда так недоверчиво посмотрел на господ, а тот солидный господин с черной бородой, читая книгу, кивает головой и говорит:

— Его, его.

Пожал кондуктор плечами, щелкнул по билету и вернул его мне. Потом пошел дальше.

Вдруг немного погода подходит ко мне молоденький господин с белесыми усиками. Уперся в стойку, уставился на меня и спрашивает:

— А ты, мужичок, как это: всегда едешь в первом классе? — Выведывает, стало быть, что оно за человек. — Или ты, может быть, казак?..

— Да, казак.

— А где же ты живешь: в селе или у тебя хутор есть?

— В селе.

— Далеко от станции?

— Да нет, тут возле станции.

— На станцию ты приезжаешь или пешком ходишь?

— Иногда иду, а если нужно, то и еду, — отвечаю спокойно. «Что-то оно дальше будет?» — думаю.

— А едешь ты на одной или на паре лошадей?

— Когда нужно, то и на трех еду.

— На телеге или на чем другом?

— Если нужно на телеге, так еду на телеге, а если нужно на чем другом, так и на другом, — отвечаю господину, вспоминая свою арбу.

— Ты сам едешь или, может, и батрак у тебя есть?

— Почему же не быть?

— А дом у тебя большой?

Мне он уже надоел своими вопросами.

— Да, как раз по мне, — говорю. — А у вас, господин, какой — большой?

— Как? — говорит.

— Да дом, — говорю, — большой у вас?

— А тебе какое дело до моего дома? — сердито отвечает господин.

— Так вы же о моем спрашиваете, — отвечаю и, между прочим, спрашиваю: — А батрак у вас, господин, есть или вы сами на станцию ездите?

— Ересь какую-то плетешь! — ответил мне господин, отвернулся от меня и ушел.

Ну и ладно, сидим себе и едем. Господа о своем говорят, а я о своем думаю и всякую всячину рассматриваю. Они оставили меня в покое, уже и не смотрят в мою сторону.

Хороший табак господа курят, здорово пахнет. Наш очень воняет, а у них как ладан. Если бы каждый муж такой табак курил, то жена его с трубкой бы из хаты в сени не выпроваживала.

О, а это уже не ладан! Толстый господин с раздвоенной бородой закурил такую толстенную черную папиросу, свернутую прямо из листьев. Ну и крепкая! Эта и мне дух забила. Нужно, наверное, и себе закурить, а то задушит.

Вот так раздумывая, вытащил я кисет и набиваю трубку. Набил, закурил...

Вдруг слышу: «кхи-кхи-кхи!» Я и не заметил, что это мои господа уже начали кашлять от моего табака. Вдруг подскакивает ко мне господин с подкрученными вверх усиками:

— Мужичок, а мужичок, ты зачем куришь?

— Да, — говорю, — господин, покурить захотелось.

— Здесь нельзя курить! — говорит он.

— Но ведь господа курят, — отвечаю. — Вот и у вас в руках папироса.

— Так, видишь, это табак совсем другой, а у тебя табачище такой, что весь вагон завонял.

— А коли у меня другого нет? Да разве тут, — спрашиваю, — нельзя курить мужицкий табак, а только господский можно?

— Разумеется!

— А где об этом написано?

— Там! — и показывает на табличку.

— Нет, господин, я грамотный. Там написано о том,

чтобы не выходили из вагона, когда движется поезд, а не про табак.

Вдруг как вскочит с места тот господин, у которого два пучка волос торчат на щеках, да как подбежит ко мне, как закричит:

— Вон, мужлан! Вон! Не смей курить свою вонючую гадость!

А сам весь дрожит от злости, и его красное лицо даже передергивается. Ну, мне сначала стало как-то не по себе, а потом думаю: «Чего я буду молчать?» Да и отвечаю, попыхивая трубкой:

— Вы, господин, не кричите и не стучите, потому что я тоже заплатил за билет такие же деньги, как и вы, а вон та папироса, что у вас в руке, может, мне она больше воняет, чем моя трубка.

Тут мой господин как затопает ногами, как заорет:

— Кондухтор! Кондухтор!

Да и выбежал из вагона.

Спустя несколько минут он возвращается вместе с кондухтором.

Тот сразу ко мне:

— Не кури!

— А разве нельзя курить?

— В первом классе нельзя курить такой табак!

— А где об этом написано?

Кондухтор смутился, но продолжал твердо одно и то же:

— Не кури, а то я выведу тебя!

— Нет, не выведете, потому что у меня билет есть. Пускай господа не курят, тогда и я не буду курить, а если им можно, то, значит, и мне тоже.

— Так ты бы хоть вышел из вагона и постоял в тамбуре и покурил.

— Конечно, если господа будут выходить курить в тамбур, тогда и я выйду!

Вдруг господин, что с подкрученными усиками, как подбежит ко мне, как бросит мне на топчан папиросу.

— На, — говорит, — кури, черт бы тебя взял, да только не чади своей смолой!

— Нет, — отвечаю, — у меня и свой есть, зачем мне ваша папироса? Не бросайте мне, господин, ведь я не собака.

Да взял эту папиросу пальцем и сбросил на пол.

Тут поднялся настоящий ералаш. Как сбежались сюда все! Господа ругаются, барышни топают ногами и тоже ругаются, кондуктор лезет открывать тот ветрогон, что на потолке, да тоже визжит, а я молча сижу да трубкой попыхиваю.

— Вот подъедем к станции — я тебя выведу и не разрешу дальше ехать! — говорит кондуктор.

А тот господин, с черной бородой, посмотрел на него пристально, да и спрашивает:

— А разве вы имеете право не разрешать пассажиру ехать?

Кондуктор смутился, как пилюлю проглотил, ничего не сказал и ушел. Умолкли и господа, только посапывают, нахмурились да плюются, а господин с черной бородой почему-то тихонько смеется, прикрываясь своей книгой.

Загудела машина — уже и станция. Жду я этого кондуктора — не приходит выводить меня. Уже и поезд тронулся, а его все нет. Ну и хорошо!

Я тем временем уже и трубку докурил, и дым от нее разошелся и господа мои совсем утикли.

Проехали мы так еще станции три, снова мне захотелось покурить. «Теперь уже, — думаю, — в самом деле выйду из вагона, да и покурю в тамбуре. Ведь меня жена тоже выгоняет из хаты, когда я закурю, а она уже привыкла к нашему самодельному, а это все-таки господа — от непривычки, так оно у них и в носу, и в горле того... Нужно уж и их пожалеть, конечно... А свое право я все-таки доказал.

Однако, как только я полез в кисет за трубкой, хотел было набить ее, потому что на дворе ветрено, как вдруг господин с черной бородой, который защищал меня, подсаживается ко мне и спрашивает:

— Куда едете?

— Да в Ч., — отвечаю.

— Дело у вас там есть?

— Конечно! — говорю, а сам не признаюсь, зачем я еду, продолжаю набивать трубку.

— Не хотите ли, — говорит, — закурить моего?

Да и протягивает мне полную пачку господских папирос.



— Спасибо, благодарю. У меня еще и своего хватит. Раз уж я курю, так у меня есть и трубка и табачок.

— Так свой и потом пригодится, — уговаривает он меня, — а я был бы очень доволен, если бы вы мой по-пробовали. Как он вам понравится?

Посмотрел я на него — насмехается надо мной дьявольский господин: не хочет слышать запах самодельного табака, так угощает турецким. А впрочем, видно, что добрый человек. Может, он хочет, чтобы снова не было ссоры и не нападали на меня. Нечего мне сердиться на него, если он со мной по-человечески разговаривает.

— Хорошо, — говорю, — если вы так любезны, возьму.

Взял, поблагодарил, закурил, да и думаю:

«Видишь, как оно в жизни бывает: то, как собаке, бросали тебе папиросу, а теперь подают, как человеку, да еще и упрашивают. Эге-ге! Нужно только выдержать характер! Так я теперь и буду поступать!»

Вот так я сижу, рассуждаю, а поезд уже и к Ч. подъезжает.

Приехал я в Ч. У меня, говорю, все-таки и дело было к одному знакомому человеку. До обеда я был у этого человека, а потом купил кое-что. Вечером можно было бы и на поезд, чтобы обратно домой ехать, но я другое задумал. Нужно еще посмотреть, как это самому себе господином быть. Куда бы это пойти?

Расспрашивать у людей не стал, чтобы, случайно, не смеялись надо мной, подумал я — и решил пойти в театр. Хотя я в театре никогда не бывал, но сын нашего попа рассказывал мне, что там такое вытворяют, будто и на самом деле так бывает: и влюбляются, и расходятся, и мирятся, и бранятся, еще и убивают друг друга... А что уж поют да пляшут! И так, сказывает, что без всякого стыда при людях и целуются. А господа сидят и смотрят. Вот решил и я пойти туда посмотреть и господское место себе купить.

Пошел. Хожу по городу и читаю на столбах, где большие газеты приклеивают, вон с такими огромнейшими буквами, ищу, нет ли тут театра. Так везде, как назло, или вчера был, или завтра будет, а сегодня нигде нет. «Вот, — думаю, — не везет мне». Хожу от столба к столбу, как дурак. Когда вдруг наткнулся на то, что

нужно. Хотя оно и не театр, но все-таки на него вроде похоже: «В зале дворянского собрания концерт».

«Окаянный его знает, — думаю себе, — что оно за концерт?» Однако, прочитав газету, вижу, что там будут играть и петь. Ну, что же, можно и послушать.

А сколько же стоит билет? Есть места по полтиннику, и по рублю, и по два. Вот те, что по два, наверное, и есть господские.

Но где это будет! Написано: «В зале дворянского собрания». Это, наверное, там, где господа дворяне собираются... Так я знаю, где это, потому что когда-то сам туда добивался к дворянскому производителю по общественным делам. Чего же мне еще искать? Вот это то, что мне нужно: где господа — там и я.

Ну, пока еще было рано, вернулся на квартиру к знакомому человеку, кое о чем расспросил его, узнал, куда и как идти в то собрание, и, дождавшись вечера, пошел. Подхожу к большому дому. Вот что, знаете, позади собора стоит. А там уже возле дверей народу собралось — давка! Раз за разом всё подъезжают эти хвалетоны туда, да всё туда! Это же там будет такая теснота, что и не протолкнешься.

«Ну, — думаю, — голубчик, выдерживай характер, потому что тут, гляди, еще сильнее забурлит, чем в поезде в первом классе!» Да так смело и следую за одним господином, входя в ту же дверь.

Только вошел я, вдруг какое-то лакейское чучело меня за руку хватя:

— Ты зачем сюда?

— Не хватай, — говорю, — не торопись! — да и отвел его руку в сторону и пошел дальше.

Иду дальше так, как мне говорили. И в самом деле за столом сидит какая-то барышня и продает билеты. Подошел и я.

— Будьте любезны, разрешите и мне билет.

— Нету, — говорит, — все продала, только в первый ряд есть.

— Вот мне как раз и нужно в первый ряд. Дайте его.

— Два рубля, — говорит.

— Ничего, — отвечаю, — давайте! — и подаю ей два рубля.

Взяла она у меня деньги и дала билет.

Там господа еще раздеваются, ну, а я, как был в поддевке, так прямо и пошел в тот зал — ни у кого не спрашивал, как туда пройти, потому что мне рассказали, где нужно поворачивать и садиться.

Когда вошел, как тут уже — не совру — мне страшно стало.

Светлица такая большая, как овин. Да где там! Еще бóльшая!.. И вся блестит. А стульев наставлено!.. Люди снуют, да всё господа и господа. Одни сидят, другие ходят... Отродясь не видел такого. Если бы не решился идти, так, наверное, вернулся бы, а то уж как-то отступить не привык.

«Выдерживай характер!» — снова говорю я себе и все продвигаюсь да продвигаюсь между господ и меж стульев, пробираясь к своему первому ряду. Да еще эти барыни с длинными хвостами, а одной даже на этот бредень наступил (а у одной барыни так запутался в ее бредне, как парубок в стеблях тыквы), что я чуть было не упал. Что-то мне и говорили по этому поводу, да я не разобрал. Все смотрят на меня и удивляются, однако пропускают. Постепенно протолпился я в первый ряд, нашел седьмой номер и сел. Возле меня никого нету. Только вон там двое, как и я, в первом ряду сидят.

Сижу, молчу и не оглядываюсь. Гляжу я на огромные портреты, что на стенах висят, да на тот хортоплян, на котором играют. А сзади меня господа всё суетятся да суетятся, и уже слышу — что-то обо мне говорят и на меня показывают. А потом, вижу, один приближается к моему первому ряду, повернулся раза два и остановился возле меня.

— Мужичок, — говорит, — ты не туда попал.

— Нет, туда, вот мой билет... — показываю, а сам думаю: «Точно так, как в поезде».

— Ну и что же, что билет, — говорит. — Это неважно. А сидеть здесь можно только тем, кто по-господски одет, а не по-мужицки.

— Разве, — доказываю, — одежда будет слушать? Ведь люди!

— Да, люди, люди, но только не в таком одеянии, как ты. Это дворянское собрание, мужикам здесь нечего делать!

Разозлил он меня. «Погоди же ты, — думаю, — загну и я тебе закарлочку». Да и спрашиваю:

— А разве, — говорю, — господа тут что-нибудь плохое будут делать, что на них смотреть нельзя?

И он тут же повернулся и убежал от меня, ничего не ответив.

— Ну и беги!

Вдруг немного погодя снова кто-то затопал возле меня — кажется, тот лакей, что одежду у господ снимал. Подошел и говорит:

— Мужичок, поднимайся и уходи!

— Почему? — спрашиваю.

— Нидзя, тут только господам можно, панам.

— Кто заплатил за билет, тот тут и господин, — отвечаю. — Я заплатил, так и сидеть буду!

— Уходи, а то выведут!

— Посмотрим, — говорю. — Вы лучше идите своим делом занимайтесь! Чего вы ко мне пристали, как сапожная смола?

Побежал и этот следом за тем. «Может быть, на этом и конец, оставят меня в покое?» — подумал я.

Но не тут-то было! Вижу, двигается ко мне тот хватальный, что по базару ходит и торговков разгоняет. Даже заыхался, стулья сшибает — так спешит. Прибежал ко мне да как зашипит:

— Вон отсюда!

— Ваше благородие, — говорю, — вы на меня не кричите, потому что я заплатил деньги такие же, как и господа.

— Взять его!

Тут откуда-то появился тот же самый лакей и полицейский. Схватили меня и ведут. Иду, не сопротивляюсь, понимаю, что все равно бесполезно.

Ну и стыдно же мне было идти сквозь толпу господ! А они, дьявольские, еще и подсмеиваются!

Вдруг навстречу идет какой-то господин и говорит:

— За что вы его выводите? У него же билет есть.

— Не ваше дело! Не вмешивайтесь в полицейские дела! — зарычал на него хватальный.

Вывели меня в сени. Хватальный и говорит солдату:

— Отведи его в полицию, пускай там переночует, а

завтра я ему по-своему разъясню, как в концерты ходить. Ишь, хамлюга, еще и в первый ряд полез!

Повел меня солдат.

Идем по улице. На дворе уже темно, везде фонари зажглись. Прошли мы немного молча.

А потом я и спрашиваю:

— А куда это мы идем?

— Разве не слыхал? — отвечает. — В полицию идем.

«А чтоб ты пошел вокруг света!» — думаю, а сам продолжаю:

— Так разве вы меня и на самом деле в полицию ведете?

— Да, веду.

— А зачем?

— Потому — приказано.

— А что же в полиции будет?

— Посажу тебя в темную, там переночуешь. Разве не слыхал?

— Слыхал, — отвечаю. — А когда переночую, что тогда будет?

— А тогда надзиратель будет объяснять тебе по-своему...

— Что же это значит «по-своему»? — спрашиваю.

— Разве не знаешь?

— Не знаю.

— Ну, тогда завтра твоя морда узнает.

Как услышал я это, так мне точно кипятком в лицо плеснули, а потом и дух забило. Никогда в жизни меня не били. Разве что в детстве, когда шалил очень, мать, бывало, тряпкой ударит. Вот влип по самые уши!

Еще помолчали немного. Тогда я и говорю:

— А что, если бы я взял да вот сейчас и убежал от вас?

— Какой ты ловкий! — отвечает. — Потише, а то попа сшибешь.

— Ну, а если бы все-таки убежал? ..— снова начал я.

— Так я поймал бы тебя и морду набил.

«Да чтоб тебе добра не было за такое слово!» — подумал я, и снова у меня в груди закипело. Да, нужно терпеть, чтобы хуже не было.

А он на меня косо поглядывает и:

— Не отставать, не отставать! Иди-ка вперед!

— Да я, — говорю, — и не отстаю, просто думаю, — что, всунь я вам рубль в карман?

— Так тогда, нагнав, не бил бы по морде, а только взял бы за шиворот, да и потащил в полицию.

— А если бы два рубля, так, может, вам тяжеловато было бежать?

— Нет, не очень... Ты богач, билеты в первый ряд покупаешь.

— Вот то-то и оно, что здорово израсходовался, — говорю. — Ну, а если два с полтиной, так уже тяжеловато будет, наверное, не догоните?

— Кто его знает... А что я надзирателю скажу?

— Скажете, что убежал, воспользовавшись темнотой, а вы споткнулись, упали и потому не догнали.

— Кто его знает... Давай три, так, может быть, и тяжеловато будет.

Вытащил я три рубля и сунул ему в руку.

А мы как раз подошли к самой темной улочке. Я и бросился туда — бегу, даже земля горит под ногами, даже дух захватывает. Оглянулся — в темноте его уже не видно.

Тогда повернул я на следующую улицу, слышу — тархит, извозчик едет. Подождал, да так в хвалетон и вскочил:

— На станцию, да побыстрее! Успеем еще на поезд?

— Буду погонять — так успеем.

— Так гони же!

Пока ехали к станции, все боялся, что опоздаю, а когда вошел в вокзал, так уже и не помню, как схватил я билет, как и в вагон вскочил.

И что же вы думаете? До тех пор пока поезд не отошел, все время дрожал. Не страшны мне эти полицейские, а страшны позор и неуважение.

Вот так-то я добивался своих прав... Да так и не добился...

Когда вернулся домой, я долго не признавался жене. А потом все-таки рассказал ей. Она и давай меня поносить за то, что столько денег зря перевел.

— Тебе, — говорю, — безразлично, что надо мной так глумились, только о деньгах заботишься!

— Так тебе и нужно! — кричит. — Не затевай того, чего не следует!

Ну, что ты ей скажешь? Тогда, когда уезжал, даже плакала, а невредимым вернулся, так ей все равно — лишь бы деньги!

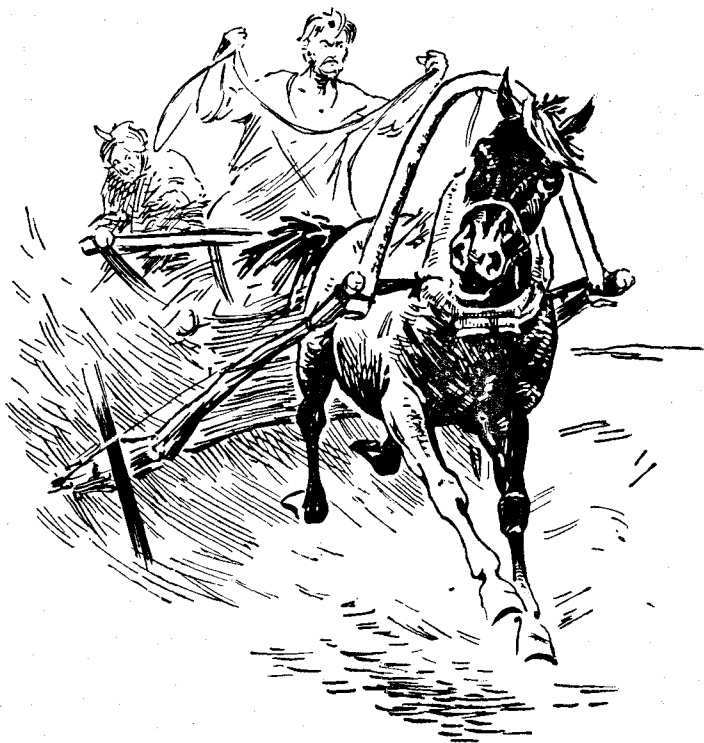
Да это бы еще все ничего, а вот беда — хотя я ей и приказывал, чтобы никому ни слова, однако она все-таки рассказала обо всем своей сестре Хотине, а у той язык как помело — сразу все узнали.

Стали тогда надо мной смеяться: «Господского права, говорят, добивался».

А это и неверно: не господского, а все-таки человеческого.

1902 г.





## ПОДЖИГАТЕЛИ

Уже и не знаю, барыня, как вам и рассказывать о своем горе. Такое оно горькое, что и говорить тяжело! Да нужно... Ведь вы все-таки, барыня, умные, а ваш барин и законы знает, так, может быть, вы меня, темную, наставите: куда мне податься, как своему горю-горькому пособить? Вы же, когда у вас моя Харита служила, каждый раз нам помогали и добрым словом советовали. К кому же мне, вдове, теперь и обратиться?

Я-то думала при детях век доживать, думала, будет



кому похоронить меня, а сейчас вон как вышло!.. Они жалели меня — и дочь, и зять, — а вот горе нас не миновало...

С чего начать, не знаю... А все-таки началось из-за ссоры, — вот когда поссорилась наша община с экономическим управляющим<sup>1</sup>, с Паценко. Да как же было и не поссориться, посудите сами? Сколько лет мы у него брали в аренду луга для покоса!.. Вы же знаете, сколько у нас того сена, как кот наплакал, — уже в начале зимы свое кончается. А в прошлом году он взял да и не дал. Он-то давал, но по два рубля на десятину набросил, да еще и сказал, чтобы каждый хозяин по три воза лозы привез из болота. Виданное ли дело — такую цену загнул, да еще и с отработками? Бросились наши в другие окономии, так где там! Везде уже сдали в аренду. Да еще тут и другое: вокруг нас — всё земли этой одной окономии, а другие земли — невесть где. Разве можем мы из такой дали сено возить? Искали-искали, горевали-горевали, да и снова к Паценко.

— Уже и по два рубля согласны, и лозы привезем. Только сдайте нам покос.

Так куда там!

— Теперь, — говорит, — ко мне пришли, а то не хотели. Не дам!

Давай просить, давай умолять его — нет! Как уперся — не дам, и не дал.

— Нужно, — говорит, — вас, мужланов, проучить, чтобы вы знали, как слушаться. Сам скошу. А сейчас в городе полк стоит, все солдатам продам.

Косарей откуда-то привез, скосил и все до стебелька в имение свез, а осенью и в самом деле сено в полк продал, а нам ничего не дал, хотел проучить.

И проучил-таки!

Наши видят, что беда, да так уже берегут это сено, совсем по капле дают скотине. Но как ни береги, а все равно только до половины зимы дотянули. А там хоть режь скотину, хоть сама она пускай подыхает. Некоторые продали, а кое-кто поехал за тридевять земель сена добывать. А оно еще, как на грех, недород был в прош-

---

<sup>1</sup> Экономический управляющий — (искаж. экономический) управляющий имением.

лом году. Поехал и мой зять, Михайло. Ездил, ездил и все-таки привез два воза сена. Да разве его надолго хватит? И соломы уже не стало, ведь и хлеб не уродил. Поела скотина все, что было, и такая стала, что одни кости да кожа. Как посмотрим мы с Харитой на коровку, так слезы на глаза навертываются. Были у нас бычки, пара доморощенных — сами выходили и выкормили, такие хорошие, весной уже можно было бы и в плуг запрягать их. Продал Михайло. Только коровка да лошадь и остались. Еле ходят.

Молока уже нет. Дети плачут:

— Плохая бабушка, плохая мама: раньше так давали молочка, а теперь не дают.

— Ах, мои птенчики! Если бы я могла; я бы вам частичку своего сердца отдала!.. Наша коровка молока не дает.

Пошли они, две младшие девочки, к коровке:

— А почему ты нам молочка не даешь, а?

А та коровка стоит, свесив голову, едва дышит. Я так и залилась слезами.

С трудом дотянули до весны. В нашем селе половины коров не стало.

Пришла весна. Выпустили бедную скотину на зеленый луг. А сами к Паценко:

— Будьте милостивы, не наказывайте! Согласны на все, только сдайте нам!

— А, — говорит, — научились слушаться! Хорошо, сдам, да только вы мне овражек уступите, потому что он не ваш, а окономический.

А овражек — это у нас такой клочок земли посередине пашни есть. Когда-то там был лесок, да его вырубил, только три дерева осталось да трава растет. И этот овражек стоит на границе окономической земли. Так вот и начал было Паценко судиться с нами. «Это, — говорит, — по плану получается окономическое». А мы отвечаем — наше. Судились, судились, и долго тянулось это дело, и все-таки не удалось Паценко отсудить его у нас: этот клочок земли остался за нами. Так вот он захотел, чтобы теперь мы ему отдали его. Виданное ли это дело? Только там и можно пастись нашей скотине, а больше нигде. Да как же так можно даром его отдать? Ни за что на свете!

— Нет,— сказали наши,— мы овражка не уступим!  
— Если так,— отвечает он,— так не сдадим вам в аренду и луга.

Пять раз ходили к нему — не сдал.

Тогда уже и наши разозлились. Можно ли на такое согласиться? Это означало лишиться всей скотины, всего хозяйства и тогда ходи под окнами с сумой. Ты нас хочешь проучить? — ну и мы не останемся в долгу. В другой раз уже не будешь так издеваться над нами!

И они решили отомстить Паценко.

А мы, женщины, об этом ничего не знали, потому что они скрывали от нас. Это нынче выяснилось, как было дело.

Собрались они тайком на сходку и стали советовать-ся, что дальше делать. Советовались, советовались, а потом кто-то и говорит:

— Давайте подожжем его сено на лугу. Пускай ни нам, ни ему не достанется. Тогда будет знать, что если нам не отдает, то и сам не воспользуется. И в следующий раз сдаст нам.

Некоторые были за это, а другие — против. А потом все согласились с этим.

— А кто же, — говорят, — поджигать будет?

Решили бросить жребий: кто вытянет — тому и поджигать.

Стали бросать жребий, а наш сосед Гапон и говорит:

— Страшно, как поймают: в Сибирь загонят. Давай-те не сами будем поджигать, а детей пошлем.

— Как это — детей? — удивились все.

— А так! — говорит. — Детям ничего не сделают, потому что они дети: их ни судить, ни наказывать не будут, разве уши надерут, если поймают. Да никто и не узнает, только надо умных да бойких ребят подобрать.

Снова советовались, и еще раз советовались — и все-таки решили послать детей. Теперь решили жребий не бросать, а подумать, кого из ребят послать. Чтобы были поумнее и поменьше: которых нельзя было бы судить. И договорились послать: Стецка Гапона, Василия нашей кумы и нашего Петруся. И так договорились, чтобы сами отцы тайком научили детей, как и что им нужно

делать, да и послали их. И все поклялись молчать и никому и словом не обмолвиться.

Так вот, когда Михайло присягнул, так он уже ничего не сказал ни жене, ни мне. Так что мы и не знали, какое горе свалилось на нашего Петруся. А он у нас был такой бойкий и смысленый, вот на него и пал выбор — вовек бы этого не было!

Оно хотя и маленькое было, только восьмой годочек ему, а такое забавное... Все, бывало, Михайло с Харитой ссорятся из-за него: тот к себе его тянет, а та к себе. А он своей белобрысой головкой и туда и сюда приклонится. И ко мне подбежит, приласкается:

— Бабушка, а почему у вас свитка такая рваная?

— Потому что не за что новую купить!

— Я когда вырасту, так заработаю много-много денег и куплю вам свитку теплую-теплую, потому что вы старенькая, так вам нужно, чтобы тепло было.

— А мне что купишь, сынок? — не утерпела и мать.

— А вам куплю бусы и дукачи, потому что вы молодая, так чтобы были красивой-красивой!..

Мать так и сияет.

— А папе серую смушковую шапку куплю, как у старосты.

Это еще когда был совсем малышом, так утешал нас. Мать не налюбуется им. А когда подрос, так уже сам стал браться за работу, и подгонять его не нужно. Лошадей погоняет, а на плуг посматривает.

— Батя, может, вы бы отдохнули, а я за плугом пошел?

Так вот, говорю... Нашим людям удалось достать немного травы только далеко от нашего села. Да что поделаешь? И этому были рады.

Прошла весна, наступило лето. Трава выросла высокая, выросла она и у Паценко. Скоро и косить нужно. Позвали отцы своих детей и давай их учить:

— Вот так и так — пойдите и подожгите! Да никому не говорите — даже матерям.

А мальчишкам только этого и нужно. Все мелюзга. Самому старшему, сыну кумы Василию, пошел всего десятый годок. Где уж им разобраться, что и к чему? Они и рады.

Василий потом все и рассказал, как оно было.

Посреди луга была небольшая вырубка. Там среди травы лежал сухой хворост, да еще отцы троих ребят ночью принесли туда соломы и разбросали ее по вырубке и по траве, чтобы быстрее загорелось. И мальчишек направили в ту вырубку, там в случае чего и спрятаться легче.

Взяли мальчишки спички и побежали на луг. Вырубка от дороги далеко, к ней тропинка ведет — голая полоска среди травы вьется. По этой тропинке, пригнувшись в траве, они и прибежали к вырубке. Притаились там, да и оглядываются, не идет ли кто-нибудь или не едет. Дождались, когда нигде и никого не видно было — ни на лугу, ни на дороге, — и взялись за работу. Нагребли кучу соломы, начали разжигать — разгорелось хорошо. Лето было жаркое — все высохло. Стецко и Василь с этого края возятся, а Петрусь:

— Я, — говорит, — еще с той стороны вырубки подожгу, чтобы быстрее горело.

Да и побежал.

А ветер дует такой — даже ревет! Пока нагреб соломы да пока поджег — может, не сразу и загорелось, — а с противоположной стороны пламя уже бежит по сухому хворосту и соломе. Он выскочил, а товарищи его убежали с вырубки, упали на коленки в траве и смотрят, что же дальше будет. Прибежал и он к ним и тоже стал смотреть, как огонь за огнем гоняется. А Василий, сын кумы, посмотрел на него, да и говорит:

— А где же твой картуз?

Схватился он за голову — нету картуза. А ему отец только вот новый картуз купил, так он страх как был рад ему. Наверное, когда бежал по вырубке, какая-нибудь ветка сбила, а в спешке и не заметил.

— Это, — говорит, — я его там потерял. Побегу возьму.

— Не ходи, — говорят, — потому что, видишь, как пламя к пламени приближается, еще сгоришь!

А пламя движется все быстрее, да так и пожирает траву и хворост. И с этой стороны, и с другой пламя наступает. Между ним только осталась небольшая полоска.

А ему так жаль было своего картуза! Как бросится туда!.. А ветер как подует, словно ураган, — пламя как вспыхнет, так его и охватило. Только крикнул, и все...

Только крикнул...

А мальчишки испугались да обратно в село. Прибежали, спрятались в сарае у Гапона и сидят притаившись, и признаться боятся, что случилось. Приходит Гапониha:

— Чего вы тут?

Они молчат. Лица бледные-бледные, а сами дрожат. Она все-таки выпытала у них, и они обо всем ей рассказали.

Гапониha к нам. Мы с Харитой были в хате.

— Ой, соседушки! Да знаете вы, что ваш Петрусь сгорел?

Мы так и онемели. А Харита широко раскрыла глаза и смотрит на нее, смотрит... А Гапониha рассказывает... И Харита не дослушала — как закричит и давай бежать. Я следом за ней, а она уже выбежала на улицу. Маленькие дети играли во дворе, увидели, что их мать побежала, подняли плач и тоже бросились следом за ней. Я успокоила детей, но Хариты уже не видно было. Побежала бы и я следом за ней — так где уж мне там, старухе! А тут еще так испугалась, что и ноги не несут.

Вдруг во двор въезжает Михайло на телеге.

— Михайло, спасай сына!

Он как услышал, так и вздрогнул:

— Что это вы, мама, говорите?

— Гапониha сказала, что он сгорел на лугу.

Он уже и лошадь повернул. Я ухватилась за телегу:

— Подожди, не оставляй меня!

Вскочила я на телегу. Михайло так гнал лошадь, что на дороге пыль столбом стояла. Проскакали мы село, выехали в поле, смотрим — все небо покрыто дымом, и уже далеко-далеко протянулась широкая полоса огня, длинная-длинная, несется над землей, оставляя позади себя черное пожарище.

Хариты нигде не видно. Наверное, не по дороге, а напрямик по межевым тропкам побежала.

Стиснув зубы, Михайло гонит лошадь, а сам бледный и страшный. Я держусь за телегу.

Среди пожарища торчат обгоревшие кусты. Там где-то и наш Петрусь.

А может, мальчишки соврали или, может, не заметили, как он выбежал на другую сторону?

Добежали до вырубки, бросились искать. Михайло бежит впереди, а я семеню следом за ним. Хариты не видно. Добежали до конца вырубки. Лежит она там. И Петрусь лежит. Она возле него и упала.

Наклонился отец над сыном. Обгорела, почернела его белокурая головушка... Лицом к земле прижался. Повернул отец голову сына и застонал.

— Глаза, — говорит, — глаза!..

Пламя сожгло личико и сожрало глаза.

— Сынок!.. Сыночек мой!..

Молча поднял отец сына и понес к телеге. Ручонка его свесилась вниз, а в ней — недогоревший картуз... Одежда истлела, распадается. Михайло положил сына на телегу, потом поднял жену и положил ее рядом с сыном. Она ничего и не чувствовала.

Повернул он лошадь и повел ее. А я тащусь за телегой, чуть жива.

Вскоре Харита очнулась. Наверное, ветер освежил ее. Она поднялась и увидела меня.

— Мама... — сказала.

А потом посмотрела в сторону и увидела выжженные глаза сына. Харита закричала, соскочила с телеги и побежала прямо в село — бежит и кричит... бежит и кричит... Мы уже не могли и нагнать ее.

Въехали мы в село. Люди окружили нас, расспрашивают, а мы и слова не можем промолвить.

Приехали во двор, внес Михайло сына в хату, положил на пол...

Только положил, а тут сразу и урядник прибежал. А потом и становой, следствие, допрашивают всех... И хоронить не разрешают...

Только на третий день похоронили мы Петруся.

Все эти три дня Харита и словом ни с кем не обмолвилась, и к сыну не подходила, и не смотрела на него, во дворе и ночевала.

Перед похоронами подошла к гробу, посмотрела.

— Нет, это не Петрусь, — сказала. И отошла.  
Вторая моя дочь тузила по мертвому вместо матери:

Мой племянничек, мой соловушка!  
Мой племянничек, мой роденький!  
Мой работничек маленький!  
Мой пахарик, мой косарик!  
Отец-мать не дождалась видеть тебя взрослым,  
Как солнышка выглядывали,  
А теперь уж не дождутся.  
Жаркое пламя твое личико сожгло,  
Буйный огонь твои глазки съел...

Я от слез и света не вижу, а отец почти до земли согнулся. Только Харита как немая.

Почему ты в такую печальную,  
Невеселую хату уйти захотел?  
Ведь там солнышко тебя не согреет,  
Буйный ветер не освежит!..

Людей за гробом шло видимо-невидимо. Каждый знал, отчего Петрусь умер, так шли все — и взрослые и маленькие. Плачут все, только мать не плачет. И гроб опустили в могилу, и землей засыпали, а она молчит. Так и домой вернулась.

Только мы во двор вошли, а урядник с сотским и с десятским за нами к Михайлу:

— Пойдем!

— Зачем?

— Еще и спрашиваешь! Подожгли господскую траву, мальчишку живьем сожгли, а еще не знает зачем!

Поташили Михайла. А Харита в хате сидит и не видит ничего. Я уже ей и не говорю. Прошел день — нету Михайла, а под вечер прибежала Гапониха, голосит:

— Ой, забрали, забрали!.. И Гапона забрали, и вашего Михайла, и Охрема. В острог повезли...

— За что в острог?

— За поджог.

Посмотрела я, а Харита стоит тут же возле нас.

— За поджог? — говорит. — Нет-нет, там нашего Петруся не было, это не он. Его там не было. Я везде искала, ничего не нашла. Только нашла... кучку... только обгоревшую кучку... А белокурых волосиков нет. Куда девались они, белокурые волосики?..



И озирается по хате...

Моя уважаемая и добрая барыня! Посоветуйте хотя бы вы, что мне делать? Михайло сидит в тюрьме, говорят — в Сибирь сошлют. А как же мы будем жить без него? Нельзя ли его вызволить?.. Вы ведь ученые, вы для того и в книги смотрите, чтобы людям помогать. Если вы чего-нибудь не знаете, спросите у барина... Везти ли мне дочь к дохтурам или что мне с ней делать? Ведь вот третью неделю... Люди говорят, что она уже во власти божьей. Ничего не говорит, кроме одного... Подойдет к двум младшим девочкам, остановит их и спрашивает:

— Детки, не видели Петруся? Там его нету: там только кучка, пепел... А где же белокурые волосики?..

1900 г.





## ПАНЬКО

Панько последним вскочил в огромную деревянную бадью, где уже стояли четыре шахтера, и крикнул машинисту:

— Спускай!

Бадья стала опускаться в шахту — вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее. Она качалась из сто-

роны в сторону, и шахтеры время от времени должны были руками отталкиваться от стен, чтобы не удариться, а иначе бадья могла разбиться и все полетели бы в шахту вниз головой. Но шахта была неглубокая; черные стены быстро промелькнули, и шахтеры были уже на дне.

— Ну, вылезай! — сказал Панько и выскочил первым, держа в руке патрон с динамитом.

Товарищи с инструментом в руках стали вылезать следом за ним.

Тут же возле ствола шахты пробивали новый проход, но, натолкнувшись на огромную каменную глыбу, не могли двигаться дальше.

Шахтерам надо было взорвать эту глыбу динамитом.

Через несколько шагов они уже были на месте. Наклоняясь, они прошли, или, точнее будет сказать, пролезли, в начатый забой.

Там было мокро и темно. Две шахтерские лампочки, мелькая, освещали черные стены и не менее черные лица шахтеров; только зубы и глаза белели на их негритянских лицах.

Рабочие стали осматривать глыбу.

— Да, с ней придется немало повозиться! — произнес один шахтер.

— Ну и громадина! — добавил второй.

— Это еще полбеды, что она большая, а вот посмотрим, как ее пробивать придется, — сказал Панько. — А ну-ка, давайте сверло!

Стали долбить каменную глыбу, ударяя по сверлу молотком; глыба плохо поддавалась.

— Не могли лучший инструмент взять! — сердито ворчал Панько. — А этим и до вечера не пробьешь дыру.

— Да уже и вечер не за горами, — отозвался кто-то.

— Ну и хорошо, а то уже все кости болят от этой проклятой работы, — добавил другой шахтер.

— Не тужи! — сказал молодой высокий парень. — Зато завтра воскресенье, погуляем!

— «Погуляем!» — с раздражением произнес мужчина с бородой.

Он приходил на работу из села и сегодня должен был идти домой, чтобы отнести свой заработок семье. А тот парень жил на шахте и все деньги расходовал только

на себя. Первый был степенным хозяином и не мог доброжелательно относиться к шахтерским гулякам.

— «Погуляем»! Вам бы только погулять! За гульней и про дело забываете.

— А про какое дело я забыл? — сердито спросил парень.

— А вот такое, что тебя посылали взять хороший инструмент, а ты принес черт знает что!

— Велика беда! — ответил парень. — Если нужно будет, так поднимусь и возьму лучший.

— Да оно и на самом деле нужно взять лучший, — сказал Панько. — А ну-ка, принеси!

— Одна нога здесь, другая там! — сказал парень. — Пойдем, Семен!

Второй парень — тот, что выражал недовольство работой, — пошел вместе с ним к бадье.

Трое шахтеров сели, прислонившись спинами к каменной глыбе. Двое из них сразу же стали курить, прикуривая от лампы, которую они прицепили тут же сбоку на стене.

Панько не курил. Он очень устал: сегодня ему пришлось много работать, и ему хотелось отдохнуть. Пока его товарищи курили и разговаривали, он сидел молча, закрыв глаза. Он с удовольствием думал о том, что сегодня возвратится домой, помоеся, отдохнет и побудет вместе с семьей. Семья у него была небольшая: молодая жена и маленький сын, ему было около трех лет. Летом Панько занимался хлебопашеством, а зимой работал на шахте. Этот заработок давал ему возможность жить безбедно да понемножку поддерживать хозяйство.

Сейчас он думал о своей теплой, чистенькой комнатке. Она так и стояла у него перед глазами, а посреди комнаты Одарка. И Одарка как будто улыбается ему. Какое-то теплое, нежное чувство охватило Панька, и ему так захотелось поскорее оказаться там, возле нее и сына. Ну, Данько наверняка будет спать, когда он придет, а завтра обязательно спросит:

— Батя, а со ты принесла мне с сахты?

Станный такой! Он всегда с матерью, слышит, как ей говорят «она», и он стал всех — и мужчин и женщин — называть «она». Нужно будет зайти в магазин и

взять ему какую-нибудь конфетинку. А он так нежно обнимет за шею и скажет:

— А со принесла?

И Одарка будет ждать его; как бы поздно он ни пришел, она не ляжет...

Улыбка осветила испачканное сажей черное лицо Панька. Ему снова захотелось увидеть Одарку, сейчас же, здесь. Нет, самому быть сейчас там, возле нее...

— А вот и мы! — крикнул кто-то почти над самым ухом Панько.

Он раскрыл глаза. Парни уже вернулись с инструментом. Нужно было приступить к работе. Неохотно расставшись со своими грезами, Панько поднялся.

С новым инструментом работа пошла живее. Но все же каменная глыба подавалась плохо — она была очень твердой.

— Да ну ее к черту, все руки изодрал! — произнес мужчина с бородой, опуская руку с молотком. — Хватит и столько!

— Неглубокое будет отверстие — за один раз не разорвет, — сказал Панько.

— Ничего, еще раз сделаем, если нужно будет.

Панько заложил в просверленные отверстия патроны.

— Ну, ребята, айда в бадью! Я сейчас буду поджигать шнур.

Четыре шахтера направились к бадье, оставив Панько зажигать шнур. Парень высокомерно сказал старику:

— А вот и принесли что нужно, не замешкались.

— Молчи уже! Про тебя и куры кудахтают в мусорных ямах, что ты такой расторопный, — ответил тот.

— Да про меня хоть куры кудахтают в мусорных ямах, а про вас, дядя Андрей, и этого не услышишь! — сказал парень, влезая в бадью.

— Ха-ха-ха! — захохотали шахтеры. — Вот так отколол!

— «Отколол!» — сердито сказал дядя Андрей, уже стоя в бадье, в то время как другие еще только влезали в нее. — «Отколол!» Язык бы ему отколоть, вот бы хорошо было! А то он у него слишком длинный, чтобы случайно когда-нибудь камнем в шахте не придало.

Шахтеры снова засмеялись. И под общий хохот парень крикнул наверх:

— Поднимай!

Бадья дернулась и стала подниматься вверх.

— Стой! Стой! — закричал дядя Андрей. — А Панько?

Шахтеры так увлеклись, что совсем забыли о том, что Панько должен сесть с ними.

Они посмотрели вниз и увидели Панька.

— Стой! — со всех сил закричал парень.

Бадья остановилась.

Панько все это видел. Он сразу вспомнил, что патроны сидели неглубоко, а шнуры были короткими. Взрыв должен произойти сейчас — вот-вот. Если бадья опустится, так камни полетят прямо на товарищей. Все это он сообразил в один миг.

«Что будет — то будет!» — мелькнуло у него в голове. И, прежде чем товарищи успели крикнуть, чтобы опускали, он громко закричал:

— Поднимай!

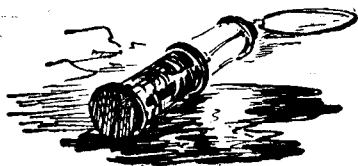
Бадья снова качнулась и сразу взметнулась вверх.

Панько повернулся, чтобы побежать в другую штольню.

Но как раз в этот момент в темноте блеснуло яркое пламя, затем раздался взрыв, и шахта содрогнулась от тяжелого грохота. Панько почувствовал, как что-то ударило ему в грудь, и свалился на землю.

Когда разошелся дым, товарищи бросились в шахту. Панько лежал тут же, а его грудь была сплошной огромной кровавой раной...

1893 г.





## ОТЕЦ И ДОЧЬ

I

Маленькая Маруся осталась дома одна. Отец ее пошел на работу в шахту. У нее не было ни братьев, ни сестер, а мать давно умерла. И поэтому, когда отец уходил на работу, она всегда оставалась дома одна.

До переезда на шахту они жили в селе. Маруся часто вспоминает то время, когда она жила в селе вместе с матерью. Только это было давно, очень давно! Она смутно помнит молодое, красивое лицо матери с большими темными глазами. Хорошо помнит, какая безгра-

ничная нежность светилась на этом лице, когда оно склонялось над ней, а заботливые материнские руки укрывали ее потеплее. И мать тихим голосом говорила:

— Спи, моя голубка! Спи, мое солнышко!

С тех пор многое забылось — ведь когда умерла мать, ей было всего четыре годика, но чудесный образ матери навсегда остался в сердце бедной девочки-сиротки.

Отца ее звали Максимом. Он был безземельным крестьянином, потому что дед Маруси еще во время крепостного права служил дворовым у помещика, хлебопашеством не занимался, и поэтому земли ему не дали. Когда Максим женился, матери его уже не было на свете, да и отец вскоре после этого умер. Остался Максим вдвоем с женой.

У них была небольшая хатка и маленький клочок земли возле дома. Хлеб сеять было негде, приходилось арендовать землю. Пока мать Маруси была жива, они еще с трудом перебивались, а когда она умерла (только пять лет прожила она после замужества), тогда без хозяйки хозяйство совсем пришло в упадок. Максим не захотел жениться во второй раз. Он оставил Марусю у своей сестры, а сам забил окна и двери в отцовской хате, да и отправился на заработки на шахты.

У своей тетки Маруся прожила четыре года. Не сладко ей там жилось.

Она всегда чувствовала себя здесь чужой, приемышем. В этой семье было четверо детей и двое взрослых, а Маруся была седьмым ртом. Всех нужно было накормить, всех надо было как-то одеть. Чтобы прокормить семью, тетка с дядей работали не покладая рук с утра до вечера, поэтому и нет ничего удивительного, что иногда они намекали Марусе, что она «не своя». Правда, Максим давал сестре определенную сумму денег на содержание дочери. Тетка и дядя знали, что этих денег было вполне достаточно, чтобы прокормить девочку. А все-таки порой им казалось, что Маруся — лишняя забота на их плечах; а все потому, что тяжелый труд и нищета вынуждали их дрожать над каждой крошкой.

Маруся не знала ласки в этой семье. Да и своих детей тетка не особенно ласкала, но все-таки это были свои дети, родные; хотя иногда и накажет их, но потом



и пожалеет. А Маруся была «не своя», хотя и родственница. Поэтому ей большей частью приходилось выслушивать упреки, ворчание и покрикивание со стороны тетки, и очень-очень редко она видела ласку.

Да, она не испытала ласки, той нежной материнской ласки, которую ощущаем даже тогда, когда мать только взглянет, когда она погладит ребенка по головке. В этом и было самое большое горе для бедной, впечатлительной девочки. Поэтому и образ матери, которая, наклонившись над Марусей, ласкала ее, сохранился в ее детской душе таким привлекательным, чарующим.

Самой большой радостью для Маруси было свидание с отцом, когда иногда в воскресенье он ее навещал.

Он очень любил Марусю, всегда приносил ей какой-нибудь гостинец. Когда она была маленькой, сажал ее к себе на колени, а когда подросла, рассказывал ей много интересного. Только наедине с отцом была она откровенна, только с одним отцом делилась она своими радостями и печалью.

И вот однажды, когда они вдвоем с отцом сидели в саду, ее тоска по родной ласке прорвалась наружу.

— Заберите меня отсюда, заберите меня к себе, папочка! Я не хочу здесь больше жить! — рыдая, умоляла девочка, склонив свою маленькую чернявую головку отцу на колени.

— Родная моя, куда же я тебя возьму? Ведь я живу в казарме, а тебе там нельзя жить, — уговаривал ее отец.

— Я буду там жить, я буду помогать вам, только возьмите меня!

— Глупенькая! Ты не знаешь, что такое казарма. Там тесно и грязно, там живут одни взрослые мужчины, а детям там нельзя жить. Некуда мне тебя, доченька, взять.

И действительно, отец не мог взять Марусю. Казарма, в которой жили шахтеры, — это длинное, тесное и грязное помещение. В ней жили рабочие, и спали все вповалку на нарах, которые тянулись через всю казарму. Помещение было очень узенькое, поэтому между нарами и стеной с трудом можно было протиснуться, чтобы лечь на нары. Здесь нельзя было жить с семьями. Вот почему отец Маруси не мог взять ее с собой.

Но слезы дочери терзали сердце отца, и он стал думать над тем, как бы получше устроить свою дочь. Он перебирал в памяти всех своих родственников, стараясь вспомнить, кто из них был ласков с Марусей, — тому он и отдал бы ее, забрав у сестры. Но так ничего и не придумал. Таких родственников у него не было; были среди них и хорошие люди, но, кто его знает, как они будут относиться к Марусе. Ведь и сестра его тоже хороший человек, а Марусе тяжело у нее жить. Да к тому же сестра будет обижаться, если у нее забрать дочь и отдать кому-нибудь другому.

И сразу ему в голову пришла мысль: а что, если и в самом деле взять просьбе Маруси, да и взять ее к себе? Только не в казарму, а в землянку. На шахтах рабочие жили то в казармах, а то в низеньких, плохоньких, покрытых землей домиках, которые назывались землянками. Такие землянки предоставляли тем шахтерам, у которых были семьи. А что, если попросить для себя землянку?

Конечно, ему, наверное, не дадут землянку, но все же: дадут не дадут, а за спрос денег не берут. Да и есть сейчас одна пустующая землянка. Правда, такая, что уже хуже не придумаешь, да что поделаешь? А между тем такую негодную, может, быстрее и дадут. Это уже как управляющий шахтами скажет. Если попадешь под настроение, так, может, и даст.

Как бы хорошо было жить вдвоем с Марусей! Плохо одному жить, тяжело! А если бы вдвоем с Марусей — вот было бы хорошо!

Максим даже мысленно представил себе эту счастливую жизнь с дочерью...

Максим пошел к управляющему. Наверное, он попал под настроение.

— Зачем тебе землянка? — допытывался управляющий.

— Да у меня дочь маленькая, так ведь нельзя ей в казарме жить, — говорил Максим.

— А почему же она с матерью не живет?

— Потому что у нее нет матери, а у людей тяжело ей живется. Поэтому и приходится мне брать ее к себе. А разве в казарме можно девочке? Разрешите перейти в землянку, век буду благодарить. Все равно она без

присмотра скоро совсем развалится, а мы ее поддерживать будем.

«Да и в самом деле, развалится», — подумал управляющий и согласился:

— Ну хорошо, можешь переходить туда.

Низко поклонившись, Максим вышел от управляющего и пошел прямо к землянке. Она действительно была плохая: штукатурка обвалилась, крыша из хвороста (потолка в землянках не бывает) прогнулась внутрь под тяжестью насыпанной сверху земли; в ней было одно окошко, да и то без стекол, а дверь висела косо на одной петле.

Не дожидаясь, пока управляющий прикажет отремонтировать землянку, Максим за свой счет стал приводить ее в порядок. Он исправил дверь, застеклил окно и собирался было побелить стены землянки, да не было времени.

«Пускай Маруся сама побелит», — подумал Максим и в первое же воскресенье взял Марусю от сестры и перевез в свой новый дом.

Маруся несказанно обрадовалась. Девочка не обращала внимания на то, что комната была такая ободранная, она показалась ей необыкновенно уютной, потому что в ней Маруся хозяйничала как хотела. Своими маленькими ручонками она, как сумела, побелила землянку, а печь разрисовала красными и синенькими цветами, похожими на каракули, и эта разрисовка не только ей, но даже и Максиму показалась чудесной. Максим смастерил стол и скамейку — вот уже и комната стала такой, как нужно.

Маруся не могла нарадоваться, а еще больше — Максим! Как он был доволен, что взял Марусю к себе! Теперь ежедневно он приходил с работы не в грязную, вонючую и тесную казарму, а в чистенький беленький уголок, где его встречала дочь и он мог отдохнуть и порадоваться, глядя, как она хозяйничает точно настоящая хозяйка.

С той поры жизнь Максима и Маруси потекла ровно и спокойно. Каждый день рано утром Максим уходил на работу, а Маруся оставалась дома. Она занималась домашним хозяйством.

Когда Маруся жила у тетки, она была самой стар-

шей девочкой в их семье. Поэтому ей приходилось выполнять работу, которую делают обычно взрослые девочки. Тогда ей тяжело было, а теперь она была довольна, что так случилось, потому что она многому научилась и может делать то, что делают настоящие хозяйки, а это пригодилось теперь ей. Маруся сама готовила обед — кое-что она умела, а иногда и у отца спрашивала. Не всегда ей удавалось, и труднее всего было варить этот борщ — никак не получается у нее вкусным! Ну да это еще невелика беда, потому что отец и дочь не привыкли к изысканной пище, а после ежедневной тяжелой работы в шахте Максиму вечером всегда здорово хотелось есть.

Говорю — вечером, потому что только вечером приходил он с работы домой. Он добывал уголь, тот, которым топят, а он очень глубоко в земле лежит. Чтобы добраться к нему, выкапывают глубокие колодцы, да и роют во все стороны под землей норы и пещеры. Вот и Максим, как залезет в такую нору, глубоко-глубоко под землей, так и не уходит оттуда весь день, — там и обедает, что из дому возьмет. А Маруся дома обедает одна — она не очень часто варит, а чаще всего вчерашнее доедает. А уже вечером они ели как следует.

Когда Маруся управится с делами, она обычно садится за шитье. Шила она плохо, но все же починить какую-нибудь одежонку могла, и этого было достаточно. А шить новое она училась у соседки Горпины. Муж Горпины тоже работал в шахте, а она в свободное время обучала девочек шитью. Маруся запрет свою землянку, да и бежит к ней учиться шить. А иногда к Марусе приходили подружки, и они шили вместе, чтобы веселее было. Прибегут, наговорят всякой всячины и развеселят Марусю.

Вечером приходил Максим, а в праздник он весь день был дома. Вот тогда Маруся радовалась. Ждет, бывало, не дождется, когда загудит машина вечером, — это сигнал, чтобы шахтеры кончали работать. Только загудит — она тут же бросится накрывать на стол. Вот уже шаги раздаются, открывается дверь, и знакомая черная фигура появляется на пороге.

— Ой, какие же вы черные, папочка! — почти каждый раз восклицает Маруся, увидев отца.

И в самом деле, у Максима не только одежда вся черная от угля, но и лицо такое черное, как у негра, — только зубы и глаза сверкают на темном фоне.

— А тебе не нравится? — смеется Максим. — Ну, так давай умываться!

Маруся убегает на печь, забивается в уголок, а Максим тем временем умывается и переодевается.

— Вот и готово! — говорит он.

Маруся выбирается со своего убежища, быстренько убирает что нужно, и вскоре они вдвоем сидят уже за столом, на котором дымится в миске горячий борщ.

Пожуринав, они начинают беседовать.

В прежнее время, живя в казарме, Максим, придя с работы, обычно старался поскорее лечь спать. И это не только потому, что он уставал, а и потому, что совсем беспросветной была жизнь в казарме — с грязью, с пьянством и прочим. Он старался поскорее уснуть, чтобы не видеть этой грязи и мерзости, среди которой ему приходится жить. А теперь ему не хотелось спать, и они с дочерью каждый вечер долго беседовали, а порой и допоздна Маруся с интересом слушала рассказы отца про шахты, о том, как там работают. Она содрогалась от страха, представляя себе, как ее отец лежит в забое глубоко под землей — а этот забой вот-вот обвалится и засыплет его навеки, — лежит и долбает кайлом уголь... Часто вспоминали они покойную Марусину мать, и это были такие грустные и такие упоительные беседы!

Но чаще всего они мечтали о своем будущем. Этой мечтой они жили, она скрашивала их тяжелую, мрачную жизнь.

У Максима была одна заветная мечта: он был безземельным, и ему казалось, что нет большего счастья, как иметь клочок собственного поля. На шахту он ушел, потому что ему негде было хозяйничать, а если бы можно было заняться хлебопашеством, он с радостью оставил бы шахту.

И вот однажды во время такой вечерней беседы с дочерью он поделился с ней своей мечтой:

— Знаешь, Маруся, о чем я думаю?

— О чем, папочка?

— Хорошо было бы уехать отсюда и не работать

в шахте, а жить дома, в собственной хате, и хозяйничать так как следует.

— Ах, боже, как было бы хорошо! — воскликнула Маруся, и ее глазенки заблестели.

— Да, хорошо... — говорит Максим. — Если бы удалось собрать хоть немножко денег да купить земельки...

— Ой, купите, папа, купите!

— Не так-то легко ее купить! На это нужны деньги. Да, кроме этого, разве с одной землей что-нибудь делаешь? Нужно еще и инвентаря сколько, пару волов или хотя бы лошаденку...

Черноволосая головка Маруси опечаленно опускается вниз, но тут же надежда снова озаряет глаза ребенка.

— Ну и что же? Мы накопим денег на инвентарь, на волов и на всё.

— Не так-то легко накопить их, доченька! А впрочем, бог поможет. Я уже немножко накопил — только ты об этом никому не рассказывай. Здесь можно заработать неплохо, а расходуем мы с тобой немного, так, может быть, и насобираем хоть на небольшое хозяйство. Только еще придется много поработать.

— А долго?

— Да порядочно, доченька, — года два или три.

Маруся совсем закрутила.

— Ну и долго же! — говорит она, снова повесив голову.

— Долго? Нет, это еще недолго! Да раньше и нельзя. Нужно, чтобы ты подросла, настоящей хозяйкой стала. А то кто же у меня хозяйничать будет? Сейчас тебе десять лет, а через три года будет тринадцать. И тогда еще маленькой будешь — не справишься. Ну да это ничего! Возьмем к себе бабушку Оксану, она и будет следить за порядком в доме.

Бабушка Оксана была уже в годах, но еще крепкая женщина, она была бездетная и бездомная; когда-то она тоже была хозяйкой, но после смерти мужа пошла служить к людям, и так уже лет десять прошло. Максим знал, что она с удовольствием пошла бы к нему, потому что в его доме была бы не прислугой, а хозяйкой.

— Да зачем же ее брать? — возражает Маруся. — Будто я одна не справлюсь! Да я днем и ночью буду работать, если надо.

— Ну, да оно немного тяжеловато работать без отдыха и днем и ночью, — смеется Максим, — а бабушка Оксана тебе вреда не сделает и порядок наведет, потому что ты одна не сумеешь.

— Да пускай уж приходит! — соглашается, наконец, Маруся. — Она несердитая.

Вот такое задумали отец с дочерью и решили во что бы то ни стало добиться своего.

Они остались на шахте и прожили еще два года. Все это время они только и думали о том, как когда-то они будут жить, и почти каждый вечер беседовали об этом, рисовали в своем воображении чудесные картины будущей жизни. Такие мечты и беседы скрашивали жизнь Максима и Маруси, а иначе она была бы совсем безрадостной, ибо отцу, да и дочери приходилось много и тяжело работать. Если бы у них не было надежды, что, работая, они добьются осуществления желанной мечты, их жизнь была бы сплошным мучением. А теперь Максим из последних сил гнался за заработком и часто перегружал себя. Маруся занималась не только домашним хозяйством — а для такой маленькой девочки и это было тяжело, — но еще и прилежно училась шить, чтобы, когда будет жить в своем доме, уметь обшивать себя и отца.

Поработав так еще два года, Максим накопил столько денег, что мог уже приобрести себе клочок земли, а к нему лошадь и еще кое-что. Землю он купил (ему продал в их деревне один крестьянин), но больше ничего не покупал, потому что ждал весенней ярмарки, которая обычно бывала в ближайшей деревне. Когда наступила весна, купил Максим зерна, нанял человека, чтобы он вспахал и засеял его ниву. А сам пока что остался на шахте, потому что подвернулась выгодная работа — можно было очень хорошо заработать. И Максим решил остаться на шахте до троицы, а тогда уже отправиться в село, к себе домой.

И отец и дочь с нетерпением ждали наступления этого праздника. Маруся считала бы не только дни, но и часы, которые остались до троицы, но, к сожалению, она не умела считать по часам. Ну и длинными же показались ей эти месяцы, длиннее, чем все три года, которые они прожили здесь. Все-таки, как недолго тянулось время, но всему приходит конец. Сегодня утром Маруся

подсчитала, что им остается жить на шахте всего шесть дней, и сказала об этом отцу, когда он шел на работу.

— Верно, верно, доченька, — ответил Максим, — в субботу выплатят за неделю деньги, а тогда и айда!

— Ох, господи, как же еще долго ждать до субботы! — вздохнула Маруся.

— Да уж как-нибудь доживем! — утешал ее отец. — Ну, до свидания, моя зорька!

## II

Отец ушел. Маруся осталась одна. Она быстро убрала в землянке и выглянула в окошко. Солнышко уже взошло. На дворе было хорошо и радостно. Марусе захотелось выйти на улицу. Но она была занята: сегодня она должна закончить сорочку отцу, да еще какую, которую она сама пошила от начала до конца, а это Маруся делала впервые. Эта работа ей так нравилась, что она скоренько отвернулась от окошка, чтобы не было соблазна, и принялась шить.

Когда шьешь, то можно и думать.

И Маруся думала о том, как они будут переезжать отсюда, сколько тогда будет забот. Но ничего, как-нибудь справимся, а когда устроимся — вот тогда хорошо будет! В своей хате! Своя хата намного больше этой землянки и такая светлая! А возле хаты Маруся посадит много цветов — так, как было у ее матери, — это так говорят, потому что она этого не помнит. А отец говорит, что он еще будет сажать деревья в том саду, который у них уже есть. Вот хорошо — свой сад! Войдешь в сад — солнышко светит, птички щебечут, вишенки краснеют. Вот уж хорошо-то!

Маруся радостно улыбнулась и тут же... спохватилась. Она так увлеклась своими мыслями, что даже не заметила, как выронила иглу из рук и перестала шить. Она немного смутилась и быстренько снова взялась за работу. И так усердно она шила до самого обеда.

В полдень слышит — гудит машина; это на обед шахтерам. Маруся оставила шитье и тоже немного перекусила из того, что осталось со вчерашнего вечера, варить для одной себя ей не хотелось — спешила закончить сорочку. Поев, снова принялась за шитье. Слышит — ма-



шина продолжает гудеть. Теперь уже отец должен был победать и снова взяться за работу.

Пошла Маруся еще с часок. Вдруг слышит — машина загудела. Девочка удивилась. Чего это она? В такое время она никогда не гудит, а теперь зачем? Впрочем, она недолго думала над этим, вскоре забыла о гудке, занятая своей работой. Вдруг немного погодя слышит какой-то крик на улице. Кто-то будто бежит.

«Что бы это могло быть?» — подумала Маруся и выглянула в окошко.

Смотрит — бегут люди и что-то кричат. Это взволновало Марусю. Она выбежала из землянки. Люди уже были далеко, и она не могла узнать у них, что случилось. Но вскоре она увидела, как мимо нее пробежала знакомая девочка в ту сторону, куда бежали все.

— Галя! — крикнула она ей. — Галя!

Галя остановилась и увидела Марусю.

— Ой, Марусечка, сестричка!.. Ой, что же там случилось — шахту залило! — с трудом произнесла девочка, потому что от быстрого бега ей тяжело было дышать.

Вначале Маруся не поняла и спросила:

— Какую шахту? Где?

— Да новую шахту. Так, говорят, водой ее и залило!

— А кто тебе сказал? — спросила Маруся.

— Да люди бежали и кричали о том, что залило.

Пойдем туда! — сказала Галя, порываясь бежать.

Маруся молчала. Она никак не могла понять, откуда взялась вода в шахте, если кругом было сухо. Но она недолго думала об этом. Другая мысль мелькнула у нее в голове: в той шахте работал ее отец. Так это и его затопило? Эта мысль поразила ее, как стрела, и она чуть было не упала.

— Ой, Маруся, какая ты бледная-бледная стала! — воскликнула Галя, подбегая к ней. — Слава богу, что мой отец работает не в новой шахте, а то горе было бы! А твоей, Маруся, в какой?

— В новой...

— Ах, бедная ты!.. — пожалела ее Галя. — Пойдем же скорей!

— Пойдем, пойдем! — тотчас опомнилась Маруся, схватила Галю за руку и потащила ее за собой.

— Да не беги так быстро, сестричка! — вырвалась та. — А то я не успеваю за тобой.

От землянки, где жила Маруся, до новой шахты, было не очень далеко, и девочки быстро добежали туда.

Чем ближе они приближались к шахте, тем больше людей встречали по дороге, которые бежали туда же. Возле шахты собралась уже большая толпа. Здесь находился управляющий шахтами, штейгер, шахтеры, которые не вышли сегодня на работу, несколько женщин с детьми. Некоторые женщины плакали, даже голосили.

Держась за руки, девочки пробирались между людьми и с трудом протиснулись в середину толпы. Там они увидели мужчину, который сидел на камне, облокотившись на угольную вагонетку. Маруся сразу узнала его: это был Семен — шахтер, который работал в шахте вместе с ее отцом. Сейчас он был весь мокрый, и видно было, что с ним что-то случилось: то ли он заболел, то ли его в шахте прибило. Возле него стоял управляющий, высокий чернявый мужчина, и приказывал штейгеру:

— Поднимите из шахты двадцать человек! Доставить сюда немедленно водяные насосы с локомотивчиком!

Штейгер побежал. Управляющий обратился к Семену:

— Ну, так как же это случилось?

— Так! — ответил Семен, сидя на камне и время от времени морщась, наверное, от боли. — Мы вместе с Иваном рубили уголь. Когда вдруг как зашумит, мы посмотрели, а вода так и хлынула! Бросились бежать — да разве убежишь? Как подхватило нас, как понесло!.. Тут я и потерял Ивана — наверное, утонул бедняга. Я уже стараюсь, чтобы подальше от стен и крепления держаться. А оно меня как закрутит да об столб головой — трах! Потемнело у меня в глазах, ну, думаю, конец! А оно, слава богу, и ничего — наверное, не сильно ударило. Потом еще не один раз ударило, но уже не головой. Если бы была вертикальная шахта, пропал бы! Ну, а с такой вынесло на белый свет.

— А верно, — сказал какой-то шахтер, — в вертикальной конец был бы тебе! А с наклонной может и вынести. Твое счастье!

— Но откуда вода взялась? — доискивался второй шахтер.

Кто-то ответил:

— Да из старой шахты. Уже, наверное, год, как она затоплена — залило ведь водой ее. Они, должно быть, подошли к ней или под нее, да и пробрили туда дыру — вот оно и затопило.

— А ты разве знаешь?

— Конечно, знаю, что в старой шахте было полно воды, а теперь она пошла вглубь.

— Беда, да и только!

— А сколько людей в шахте? — спросил управляющий у десятника.

— Да, слава богу, немного: было десять человек, одного вынесло, а девять там остались, — ответил тот.

Маруся пробилась к шахте. Это была не вертикальная шахта, не такая, как колодец, а наклонная, такая, что, как пещера, пошла в глубь земли, и шахтеры не спускались в нее, как в вертикальную, а просто ходили туда... Теперь она доверху была заполнена грязной, какой-то рыжей водой. Она подошла до нужного ей уровня и теперь стояла спокойно. Шахта казалась совсем мертвой. И действительно, она была могилой для тех несчастных, которые в ней работали. И ее, Марусин, отец в этой могиле!

Маруся, обессиленная, села на вагонетку, стоящую рядом. Галя дергала ее за руку, говорила, что нужно отойти от шахты, но Маруся словно не слышала ее — она сидела неподвижно, устремив взгляд в яму с мутной водой, поглотившей ее отца. Галя подождала немного, а потом, увидев, что Маруся не хочет уходить, отошла от нее.

К этому времени сбежалось еще больше людей. Прибежали шахтеры с соседней шахты. Привезли насосы, небольшой локомобиль и стали устанавливать их.

— А чего девочка здесь сидит? — удивился штейгер, увидев Марусю. — Уходи отсюда, здесь будем машину устанавливать.

Маруся не двигалась.

Он взял ее за руку:

— Слышишь, уходи отсюда!

Он хотел стащить ее с вагонетки.

— Не трогайте меня! — закричала она. — Там мой папа!..

Штейгер невольно отпустил ее руку.

— Что там такое? — спросил управляющий, подходя к ним.

— Да вот, — указал штейгер, — девочка. Отец ее там.

— Уведите ее отсюда! — велел управляющий.

Штейгер снова подошел к девочке.

— Я не хочу! Я не пойду! — вырываясь, умоляла Маруся. — Разрешите мне сидеть здесь — я ничего не сделаю, а только буду ждать!

Услыхав спор, женщины пробились вперед.

— Ох, господи, чья же это? — восклицали они.

— Максима.

— Вот несчастная сирота! Матери нет, а теперь и без отца осталась.

— Уберите отсюда женщин и детей! — снова приказал управляющий.

Женщин отгеснили в сторону. Но с Марусей труднее было справиться. Она вырывалась, кричала и не хотела уходить.

— Что, я вам мешаю?! Я буду сидеть тут, я только буду смотреть, только буду ждать. Там мой папа!.. Ой, там же мой папочка!..

Управляющему стало жаль девочку. Он подошел к ней:

— Девочка, уходи отсюда — здесь будут устанавливать машину. Машины откачивают воду из шахты. Разве ты не хочешь, чтобы твоего папу вытащили из шахты?

Услыхав это, Маруся тотчас встала и отошла в сторону. Она села на тот камень, на котором сидел Семен, которого вода выбросила из шахты (его уже куда-то увели). Отсюда хорошо было видно все, что делалось возле шахты.

Насосы устанавливали недолго. Вскоре заработал двигатель. Маруся вздрогнула и поднялась.

На противоположной стороне шахты уже лилась из шланга вода и стекала вниз, в овраг. Маруся долго смотрела на эту грязную воду и, наконец, взглянула на шахту. Она думала, что вода в шахте сразу уменьшится, но ошиблась. В широкой яме сколько было воды, столь-

ко и осталось. Маруся снова села на камень и стала смотреть на шахту, ожидая, когда же выкачают воду. Она ничего не замечала, что творилось вокруг нее, все ее внимание было поглощено одним — водой.

Однако вода не уменьшалась. По крайней мере, Марусе так казалось. Для такой широкой ямы недостаточно двух насосов.

Прошло полчаса, час и больше. Люди разошлись. Две женщины, мужья которых остались в шахте, долго стояли и плакали, но, наконец, и они ушли. Остались только те, кто работал у насосов, и Маруся.

Она продолжала сидеть на камне. Несколько раз ее хотели прогнать, но из жалости оставляли. Только через два часа работы насосов девочка увидела, что уровень воды в шахте уменьшился. Тогда она стала смотреть еще пристальнее. Но вода откачивалась так медленно, что простым глазом трудно было заметить ее убыль. Безнадежная грусть начала овладевать Марусей. Она долго не осмеливалась спросить, а потом все-таки встала и подошла к одному из рабочих.

— Дядя, — робко спросила она, — скоро?

— Что — скоро? — немного сердитым голосом спросил рабочий.

— Скоро воду откачаете?

— Эх, девочка, еще долго тебе придется ждать! Дней пять еще будем откачивать. А ты уходи-ка лучше отсюда, не мешай нам!

Маруся отошла. Эти слова окончательно убили ее. Она надеялась, что воду откачают сегодня. Она была уверена, что ее отец еще жив. Он, наверное, спасся в каком-нибудь закоулке — таком, что и вода туда не доходит. Там он сидит и дожидается, пока откачают воду. Но воду откачают только через пять дней. Неужели это правда? Ведь у папы нечего есть — он умрет с голоду, если пять дней просидит в шахте без еды.

Ах, боже мой! Что ей сделать, чтобы помочь, — чтобы поскорее спасти папочку, не дать ему умереть с голоду. Несчастная Маруся терзала свою душу, но она была бессильна чем-либо помочь ему; если бы даже она отдала свою жизнь, так и тогда бы ничего не изменилось.

С такими тягостными думами просидела она до вечера. Она хотела было остаться здесь и на ночь, но ее

взяли за руку и увели от шахты. Маруся постояла немного в сторонке и пошла домой, не отдавая себе отчета в том, что она делает.

Она вошла в свою темную землянку, села на скамью, оперлась руками о стол, да так и застыла. И даже не заметила, как страшная усталость, отнявшая у нее все силы, бросила ее в сон, и, свалившись на скамью, она уснула как мертвая.

Проснулась она неожиданно глубокой ночью.

Вокруг было темно. Девочка не могла понять, что с ней происходит. Какую-то минуту она думала, напрягая свою память, и сразу вспомнила, все вспомнила. Она закричала не своим голосом, вскочила со скамьи и стала посреди землянки.

Ее папа в шахте, его затопила вода, он умирает с голоду... Невыразимая, безнадежная, страшная скорбь охватила девочку. Она зарыдала, но это было не рыдание, а скорее безумный крик.

Вокруг стояла темень — черная, тяжелая и мрачная темень, и в этой непроглядной темноте на полу землянки сидела никому не нужная и всеми забытая маленькая сиротка и, обхватив руками худые колени, билась о них головой и рыдала, кричала от нестерпимой боли. Она теряла все, что было у нее в жизни: защиту, любовь, все свое счастье — так разве могла она не рыдать, не терзаться, не желать, чтобы ее воспаленная головка разбилась о худые колени?

И она рыдала.

Долго ли так продолжалось, она не знала. Но, чем дальше, тем плач становился все тише и тише, а голос все более хриплым. Рыдания еще душили ее, разрывали грудь, но эта грудь уже не в силах была выдерживать их, а голос совсем ослабел от невыразимой печали. Рыдание постепенно утихло. Девочка прижала голову к коленям, да так и окаменела, и, если бы время от времени не вздрагивало ее измученное тело, ее можно было бы принять за мертвую.

А тем временем ночь подходила к концу, и пасмурный, невеселый день уже заглядывал в окошко. Маруся не замечала этого, не замечала, как постепенно светлели стены, печь, как показывались из темноты стол и иконы в углу. Но, когда совсем рассвело, она увидела, что

уже день. Поднялась с пола и, пошатываясь, вышла из землянки.

Спотыкаясь, она пошла к шахте. Там продолжали откачивать воду. Маруся посмотрела на уровень воды и закричала от страха: за все время она убыла всего на каких-нибудь пол-аршина. Обессиленная, она опустилась на тот же самый камень, на котором сидела вчера. Но она старалась не поддаваться усталости, ей хотелось быть здесь, ждать и дожидаться.

И она сидела. Рабочие работали, разговаривали, суетились, плескала вода, грохотала паровая машина, но Маруся не обращала на них внимания. С немой тоской она смотрела на заполненную водой шахту, не отрывая от нее глаз, и ждала. А чего она ждала?

Так прошел день, а фигурка Маруси все время маячила на камне. Рабочие уже не трогали ее. Им было тяжело смотреть на эту девочку, такую бесконечно грустную, что, казалось, живая скорбь в человеческом образе пришла и села вот здесь, на камне, напоминая людям о том несчастье, о том горе, которое скрывалось вон там, глубоко под землей, спрятанное, запечатанное под этой мутной водой. Они предлагали ей поесть, но она отказывалась. К ней прибегала Галя, приходила Горпина — женщина, которая учила ее шить, — она с трудом перебросилась с ними несколькими словами. Горпина хотела взять девочку с собой, но та не пошла. Но Горпина все же заставила ее съесть пирожок, который принесла из дому.

Так просидела Маруся еще один день до вечера, а потом вернулась в свою землянку и, едва прикоснувшись к постели, уснула. Но спала недолго, проснулась среди ночи, встала и сидела, дожидаясь рассвета.

Едва забрезжил рассвет, она выбежала из землянки. Но возле шахты ничего не изменилось: суетились рабочие, грохотала машина, хлюпали насосы. Только тогда, когда подошла поближе, Маруся увидела, что воды в шахте уже не было видно — она была где-то там, глубоко, но ее продолжали откачивать насосами.

Маруся села на старое место.

Она пришла сюда с надеждой, и эта надежда некоторое время теплилась у нее в груди. Но постепенно она стала исчезать, и безнадежная немая скорбь все больше

охватывала девочку. В ее маленькой головке, сменяя одна другую, рождались черные, страшные мысли. Нет, никогда не выкачают воду из этой проклятой пропасти! Ведь вода затопила все закоулки. Сумеют ли ее выбрать оттуда совсем? А если и выберут, то когда? Тогда, когда папочка умрет с голоду? Умрет... Может, он уже умер, может, его уже давно залила вода? А если он и не утонул, то сегодня уже третий день, а завтра еще будут работать, а потом еще... И папочка будет сидеть в шахте не евши...

Она стала представлять себе страшную, голодную смерть. Там, глубоко под землей, забравшись в самую далекую нору, сидит он, согнувшись, и голод мучит его, мучит... Дальше она не могла думать об этом, потому что от одной только мысли ее душа леденела.

А если она не увидит своего папочку, если она останется одна-одинешенька на свете, что тогда ей делать? Кто ее так пожалеет, так защитит, как отец? Никто! И, наверное, лучше было бы, если бы и она не жила на свете, если бы и ее шахта поглотила. Если он умер, если лежит в шахте неживой, так зачем тогда и ей жить?

Она просидела неподвижно весь этот день, точно немая. К ней снова приходила Горпина, приносила ей поесть, но она ни к чему не прикоснулась.

И ночевать не пошла она домой — надеялась, что ночью, может быть, откачают воду. Она легла на землю возле камня, свернувшись в клубочек. Какой-то сердобольный шахтер накрыл бедняжку своим пиджаком. Но она не спала. Она то лежала, дрожа от холода, то поднималась и смотрела на людей, работающих возле шахты; их фигуры, освещенные красным светом от машинных ламп, казались причудливыми. Они продолжали работать без перерыва: когда уставали одни, сменяли другие; конца работе не было видно — вода все еще была в шахте. Маруся напрасно ждала всю ночь.

Утром она снова села на свой камень. Только села и тотчас почувствовала себя плохо. Она встала с камня. Встала с большим трудом, — ей показалось, что люди, вагонетки, шахтное строение находятся где-то далеко —



все это сразу как-то зашаталось, задвигалось и поплыло перед ее глазами. Она силилась понять, в чем дело, и в то же мгновение, потеряв сознание, упала на землю.

Очнулась Маруся в хате Горпины. Вначале она не понимала, где она и что с ней. Но тут же увидела, что возле окна сидит Горпина и шьет. Как же это она, Маруся, оказалась здесь?

Горпина оглянулась и увидела, что девочка смотрит на нее.

— Уже проснулась? — произнесла она и подошла к Марусе. — Ну, как ты себя чувствуешь?

— Да ничего, — ответила Маруся. — А чего это я, тетя, тут, у вас?

— А потому, что ты вчера утром упала в обморок возле шахты, а мой Петр там работал и принес тебя к нам.

— Вчера утром? А какой сегодня день? — спросила Маруся.

— Сегодня четверг.

— Четверг? — воскликнула Маруся. — А папочка?

— Папочка? Да вот подожди, скоро и про папу узнаем. Вот-вот уже всю воду выкачают.

— А разве до сих пор еще не выкачали?

— Нет.

— Четвертый день?

— Да.

— А как же я?

— Да ты, слава богу, вчера весь день и ночь спала и сегодня все время спишь. А как сейчас ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Я пойду туда.

— Нет, доченька, ты не ходи. Хорошо, что твоя болезнь во сне прошла. Теперь тебе нужно поесть.

— Ой, тетенька, я не хочу есть. Пить сильно хочу!

— Ну на, напейся, только не воды, я тебе молока дам.

Маруся с жадностью выпила молоко.

— Ну, ложись, доченька, и лежи, — сказала Горпина. — Отдохни. А мне нужно выйти из дому на минутку. Я сейчас приду — только к Мотре сбегая.

Горпина прикрыла голову платком и ушла. Маруся

осталась одна. Но она не могла лежать. Ей казалось, что там уже всё сделали, что уже вытаскивают людей из шахты. Она должна немедленно побежать туда, чтобы посмотреть, что там делается. Может быть, она увидит своего отца.

Она вскочила, быстро обулась и выбежала из землянки. Через минуту она уже была возле шахты. Сейчас людей там было больше, чем обычно. Подходя, Маруся услышала возгласы:

— На вагонетке надо спуститься, на вагонетке!

— Так не пройдет туда — грязь, скользко, а на вагонетке можно.

У Маруси перехватило дыхание. Уже, уже! Она протиснулась между людьми и подошла к самой шахте.

Там уже приготовили вагонетку, в которой обычно возят уголь. От вагонетки оторвали верхнюю доску, и один шахтер сел в нее.

— Ты же смотри, — приказывал ему штейгер, — что не так, сразу кричи, чтобы назад тащили. Да приглядывайся хорошенько, можно ли добраться куда нужно.

— Ну, в час добрый!

— Двигай!

Шахтер тревожно посмотрел на людей. Медленно стала опускаться вглубь вагонетка, привязанная к канату, который постепенно разматывался с барабана. Но это длилось недолго.

— Стой! Стой! — донеслось из шахты.

Люди остановили лошадь, которая крутила барабан.

— Назад!

Барабан стал крутиться в обратную сторону, канат укорачивался, и через несколько минут вагонетка с шахтером возвратилась из шахты.

— Нет хода, братцы! Всю дорогу поломало!

— Какую дорогу?

— Сделанную из досок, по которой вагонетки ходят. Дальше не проедешь.

— Что же делать? — беспокоился штейгер. — Бегите к управляющему.

Один рабочий побежал к нему. Управляющий тотчас

пришел и велел попытаться пробиться туда со старой шахты — с той, где была вода. Шахта эта была вертикальная, и в нее можно было опуститься просто в бадью.

Все бросились к старой шахте, таща за собой канат и барабан. Маруся тоже бежала следом за ними, стараясь не отстать.

— Давай бадью! Слышишь, поживее! — кричал штейгер.

Торопясь, установили барабан, привязали бадью. Штейгер сам стал в нее:

— Опускай!

Барабан завертелся — бадья качнулась и провалилась в шахту. Долго вертели шахтеры барабан, и канат все раскручивался.

Наконец бадья остановилась, и спасающие стали ждать. Зазвонил звонок — барабан снова стал вращаться, но теперь в обратную сторону.

Пока штейгера подняли из шахты, Марусе казалось, что прошла целая вечность.

— Ну что, как? — послышались вопросы.

— Можно! Вода пробилась большой проход. Через него можно свободно пробраться в новую шахту. Нужно, чтобы вместе со мной опустились еще хотя бы два человека.

Двое шахтеров вместе со штейгером стали в бадью. Они взяли несколько бутылок с молоком и хлебом — это для подкрепления тех, которые остались живы.

— Опускай!

Бадья с людьми исчезла в шахте.

Маруся протиснулась к самому входу в шахту.

— А что ты здесь делаешь, девочка? — закричал управляющий, заметив Марусю. Но сразу же узнал ее и не сказал больше ни слова.

Маруся стояла возле шахты.

Стояла и ждала. Думала, что скоро, вот сию минуту они вернутся и привезут с собой ее отца. Но никто не возвращался и не подавал никаких сигналов. Глубокая шахта проглотила людей и не возвращала их.

— Долго ищут, — сказал кто-то.

— Лишь бы они были живы!

И снова все умолкли ожидая...

Прошел уже, наверное, час. Бесконечно долгим казался он всем, а больше всего Марусе. Известий из шахты не было никаких.

Наконец веревка, привязанная к звонку, задвигалась, раздался звон. Все вздрогнули.

— Таши!

Барабан сначала пошел медленно, а потом все быстрее и быстрее. Маруся едва дышала. Минута... две... три — и вот, вот бадья!

В бадье стояли трое — штейгер и один из шахтеров поддерживали спасенного человека.

Но это был не Марусин папа.

Спасенного осторожно вытащили из бадьи.

— Сколько живых? — спросил управляющий.

— Всего трое, — ответил штейгер. — Одного вытащили, а двое еще там. Они забились в отдаленный забой — такой, что и вода туда не достала.

— А остальные?

— Двоих видел — утонули, а больше не обнаружили. Да, наверное, не миновала их горькая участь.

Бадья снова опустилась вниз, а фельдшер оказывал помощь спасенному.

Прошло еще около получаса — снова раздался звонок и завертелся барабан. Маруся снова выпрямилась, готовая в эту минуту на жизнь и на смерть.

Вот и снова бадья — и в ней был не ее папа.

Штейгер сказал, что живых трое. Третьим должен быть ее папа. Ведь ее нельзя так обидеть, нельзя отобрать у нее единственного отца! Ведь он добрый!

— Верните мне папочку!.. — умоляла она.

А тем временем бадья уже давно опустилась в шахту. И, когда раздалось «Поднимай!», Маруся изо всех сил прижала свои худые ручонки к груди и, широко раскрыв глаза, смотрела в глубокое черное отверстие шахты.

Медленно поднималась бадья.

Двое шахтеров поддерживали третьего спасенного. И это был Максим!

Не успел он ступить на землю, как в то же мгновение

Маруся обхватила его своими ручонками. Прижимаясь к нему, она воскликнула:

— Папочка! Любимый! Живой!..

И измученная девочка, потеряв сознание, упала у ног отца.

Максим пролежал несколько дней в больнице, а потом уехал из шахты. Вдвоем с Марусей они вернулись в свое село.

Теперь они счастливо живут в собственной хате и занимаются земледелием.

1893 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

Б. Д. ГРИНЧЕНКО . . . . .	5
ЭКЗАМЕН . . . . .	9
НЕПОКОРНЫЙ . . . . .	18
УКРАЛА . . . . .	32
ГРИЦЬ . . . . .	37
КАВУНЫ . . . . .	44
КСЕНИЯ . . . . .	52
БЕЗ ХЛЕБА . . . . .	68
ХАТА . . . . .	83
САМ СЕБЕ ГОСПОДИН . . . . .	103
ПОДЖИГАТЕЛИ . . . . .	120
ПАНЬКО . . . . .	130
ОТЕЦ И ДОЧЬ . . . . .	135

ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

*Гринченко Борис Дмитриевич*

**Б Е З Х Л Е Б А**

Ответственный редактор  
М. Ф. Мусиенко.

Художественный редактор  
Е. М. Гуркова.

Технический редактор  
Р. Г. Грачева.

Корректора  
А. Б. Стрельник  
и З. С. Ульянова.

\* \* \*

Сдано в набор 7/III 1960 г. Подписано к печати 17/VI 1960 г. Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>2</sub> — 5 печ. л. = 8,22 усл. печ. л. (7,72 уч.-изд. л.). Тираж 100 000 (1—50 000) экз. А05397. Цена 3 р. 30 к.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

\* \* \* \* \*

2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Заказ № 52.